

МИР

№3-1923

ПРИКЛЮЧЕНИЙ



МОСКОВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО П. П. СОЙКИНА и И. Ф. АФАНАСЬЕВА.
МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, 38.

СОДЕРЖАНИЕ № 3.

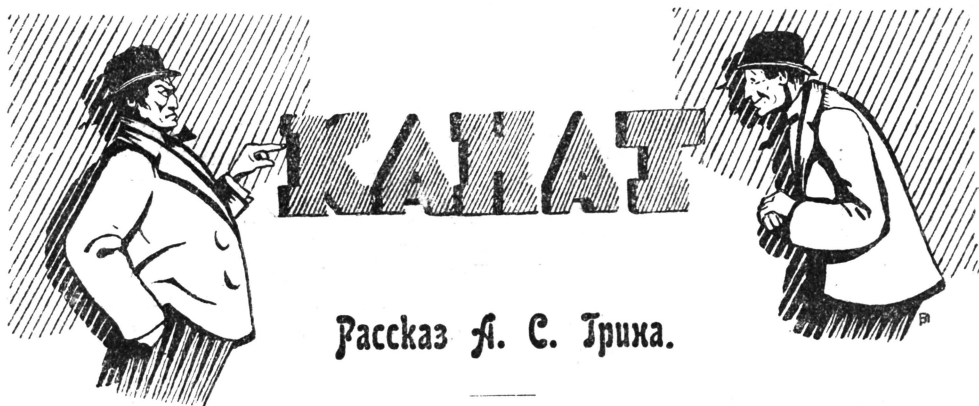
	<i>Стр.</i>
КАНАТ, рассказ <i>А. С. Грина</i>	1
ЛУНАТИК, рассказ <i>Ф. Бриттен-Остина</i>	23
БРИЛЛИАНТ МАЗАРИНИ, рассказ <i>А. Конан-Дойля</i>	41
УСПЕХ ПЬЕСЫ ХАРТЛЕЯ, рассказ <i>С. Герзона</i>	63
СКОВАННЫЕ РУКИ, рассказ <i>О. Генри</i>	87
ЧЕТЫРЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЧЕЛОВЕКА, серия рассказов <i>Уолесса</i> .	
II. Человек с клыками	93
СЕКРЕТ ГРАФИНИ БАРБАРЫ, рассказ <i>Анри де Ренье</i>	115
СИГАРА ПАШИ, рассказ <i>А. Бистона</i>	123

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

1923 г.

Книга 3-я (I).

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СБОРНИК РАССКАЗОВ.



«Посмотри-ка, кто такой
Там торчит на минарете?»
И решил весь хор детей:
«Это—просто воробей!».

Величко.

I.

Если бы я был одержим самой ужасной из всех возможных болезней физического порядка,—оспой, холерой, чумой, спинной сухоткой, проказой наконец,—я не так чувствовал бы себя отравленным и погибшим, как в злые дни ужасной и сладкой фантазии, закрепостившей мой мозг грандиозными образами человеческих мировых величин.

Кому не случалось, хоть раз в жизни, встретить на улице блаженно улыбающуюся личность, всегда мужчину, неопределенного или седоволосого возраста, шествующего развинченной, но горделивой походкой, в сопровождении любопытных мальчишек, нагло смакующих подробности нелепого костюма несчастного человека? Рассмотрим этот костюм: на голове—высокая шляпа, сплошь утыканная петушьими и гусиными перьями; ее поля украшают солдатская кокарда, бумажка от карамели и елочная звезда; сюртук, едва скрепленный пола с полой сиротливо торчащей пуговицей, испещрен обрывками

цветных лент, бантами и самодельными орденами, из которых наиболее почетные, наиболее внушительные и грозные обслужены золотой бумагой. В руке безумца палочка с золотым шариком или сломанный зонтик, перебитый жестяной стружкой.

Это король, Наполеон, Будда, Христос, Тамерлан... все вместе. Торжественно бушует мозг, сжигаемый ядовитым светом; в глазах—упоение величием; на ногах—рыжие опорки; в душе—престолы и царства. Заговорите с этим грандиозным прохожим: он метнет взгляд, от которого душа проваливается в пятки пяток; вы закуриваете, а он видит вас, стоящего на коленях; он говорит—выкрикивает, весь дергаясь от полноты власти «Да! Нет! Я! Ты! Молчать!»—и эта отрывистая истерика, мнится ему, заставляет дрожать мир.

Такой-то, вот, дикой и ужасной болезнью, ужасной потому, что,—перевороте понятия,—у меня бывали приступы просветления, я был болен два года тому назад, в самую счастливую со стороны фактов эпоху моей жизни: брак по любви, смешные и хорошие дети и золото, много золота, в виде бледных желтых монет—наследство брата, разбогатевшего чайной торговлей.

II.

Я потерял в памяти начало болезни. Я никогда не мог впоследствии, не могу и теперь восстановить то крайне медлительное наплывание возбужденного самочувствия, в котором очень постепенно, но ярко меняется оценка впечатлений, производимых свей личностью на других. Приличным случаем примером может здесь служить опрокинутость музыкального впечатления, вызываемого избитым мотивом. Нормальный порядок дает сперва сильное удовлетворение, понижающееся по мере того, как этот мотив, в повторении оставаясь одним и тем же, заучивается детально до такой степени, что даже беглое воспоминание о нем дает уже полностью точное представление реального восприятия. Такая интимность с мотивом делает его,

конечно, надоедливым и пустым. Теперь,—если представить скалу этого привыкания в обратном порядке,—получится нечто, похожее на шествие от себя—как хорошо изученного реального субъекта,—к полному восхищению своей личностью, во всех смыслах, к фантастическому, счастливому упоению.

Я не могу точно рассказать все. Меня это волнует. Я как бы вижу себя перед зеркалом в вычурно-горделивой позе, с надменным лицом, грозно пляшущими бровями. Но главное, главное необходимо мне рассказать потому, что в процессе писания я, обнажив это главное от множества, перемешанных с ним, здоровых моментов, ставлю между ним и собой то решительное расстояние зрителя, когда он уверен, что не является частью мрачного и унылого пейзажа.

Отменно хорошее настроение, упорная мысль о чем-либо поразившем внимание и особенный род ликующей нервности служили мне всегда верными признаками надвигающегося безумия. Однако, способность к самонаблюдению, неуловимо исчезая, скоро уступала место демону Черного величия. В период протрезвления я вспоминал все. Отчаяние ума, свирепствующего в бессильной тоске анализа, подобного бухгалтерской книге, изображающей крах предприятия бесполезно-янскими цифрами, отчаяние хозяина, видящего, как пожар уничтожает его дом и уют,—вот пытка, которую я переносил три с половиной года.

Демон овладевал мною с помощью следующих ухищрений.

Первое. Мир прекрасен. Все на своем месте; все божественно стройно и многозначительно в некоем таинственном смысле, который виден мне тридцатым шестым зрением, но не укладывается в слова.

Второе. Я всех умнее, хитрее, любопытнее, красивее и сильнее.

Третье. Впечатление, производимое мною, незабываемо глубоко; я очаровываю и покоряю. Каждый мой жест, самый малозначительный взгляд, даже мое дыхание держат присутствующи-

щих в волшебном тумане влюбленного восхищения; их глаза не могут оторваться от моего лица; они уничтожаются и растворяются в моей личности; они, для меня — ничто, а я для них — все.

Четвертое. Я — владыка, император неизвестной страны, пророк или страшный тиран. Мне угрожают бесчисленные опасности; меня стерегут убийцы, я живу во дворцах сказочной красоты и пользуюсь потайными ходами. Меня любят все красавицы мира.

Пятое. Мне поставлен памятник и памятник этот — я, и я — этот памятник. Чувство жизни не позволяет мне оставаться неподвижным на пьедестале, а чувство каменной статуи заставляет не ходить.

III.

Теперь, полностью восстанавливая канат и все, что с ним связано, я опишу события на фоне припадка болезни, временами взглядывая на себя со стороны. Это необходимо.

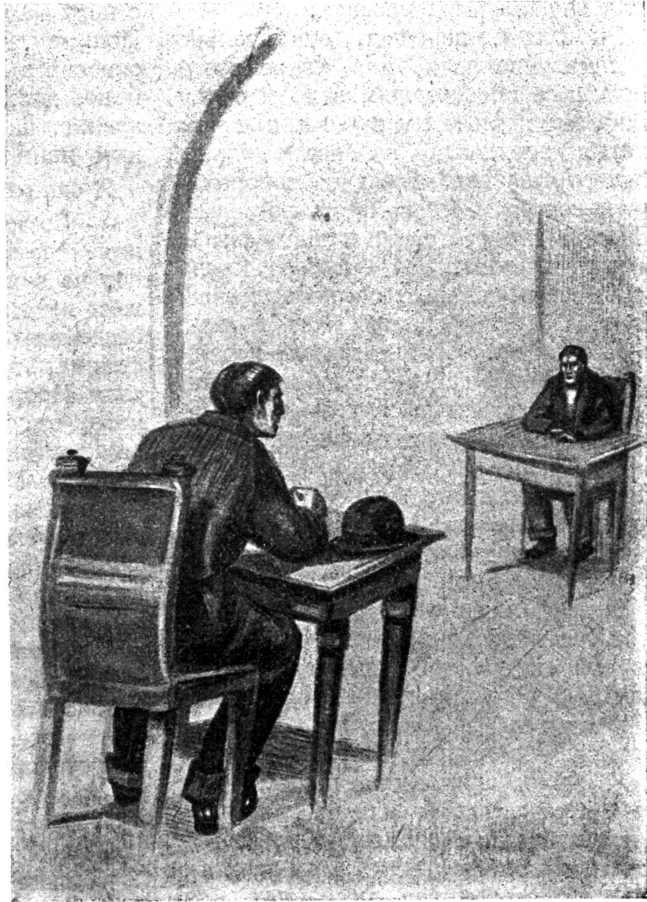
Я шел по набережной; стоял кроткий апрельский день. Белые балконы, желтые плиты тротуара и голубая река, с перекинутыми вдали отчетливыми мостами, казались мне, — в торжественной строгости моего отношения ко всему этому блеску жизни, — робкой лестью побежденных неукротимому победителю. Мое предназначение — спасти мир, мои слава и добродетель великого пророка стояли неизмеримо выше соблазнов несовершенного человеческого зрения, так как второе, пророческое мое зрение видело вещи в себе, — потрясающую тайну вселенной.

Я родился в Сирии три тысячи лет тому назад; я бессмертен и всеобъ-

емлющий; не умираю и не умру; мое имя — Амивелех; мое откровение — благостное злодейство; я обладаю способностью превращений и летаю, если того требуют обстоятельства.

Я захотел есть и вошел в кафе.

Низенькое, длинное помещение это



У того столика, на равном моему расстоянию от бордюра, сидел второй я...

было разделено посредине узкой, прилегающей бордюром к стене и потолку, аркой. Я принял ее за зеркало, благодаря странному совпадению. Столик, за которым я сидел лицом к арке, одинаковый с другими столиками, помещался геометрически точно против другого столика, стоявшего за аркой. У того столика, в равном моему расстоянии от бордюра, также оперев руки в лицо, сидел второй я. Беглый взгляд, каким я обменялся с вообра-

жаемым, благодаря всему этому, зеркалом, вскоре отразил на моем лице, надо думать, сильнейшее изумление, так как мое предполагаемое изображение встало. Тогда я заметил то, чего не замечал раньше: что этот неизвестный, чудовищно похожий на меня человек одет различно со мною. Иллюзия зеркала исчезла.

Он встал, перешел, внимательно присматриваясь ко мне, узкое почти лишенное посетителей, зало и сел у окна вне поля моего зрения, так что желая взглянуть на него я должен был отрываться от еды и поворачивать голову. Я взволнованно ждал. Я знал, что это с моим взглядом и моими щеками. Это был он, князь мира сего, вечный и ненавистный враг.

Я съел то, что мне подал, издали наблюдавший за моими движениями, слуга с чрезвычайно глупым и напряженным лицом; затем решительно повернулся к нему. Я хотел безотлагательной схватки, борьбы чудесных влияний и торжества духа.

— Ты—трус!—громко сказал я, стукнув кулаком по столу.

В продолжение всего нашего следующего разговора, начатого так шумно, но оконченного вполголоса, так как речь шла о полубожеских силах, в углу залы и за стойкой хозяина происходили отвратительные кривляния. Люди шептались, подмигивали друг другу, показывали на нас пальцами и кивали. Зная, что они помещаны, я не обращал на этих жалких отродий особенного внимания. Вся сила моего волнения сосредоточивалась на нем. Я повторил:

— Ты—трус!

Он долго молчал, загадочно улыбаясь, как бы думая обмануть меня молчанием относительно истинного своего существа; затем встал и пересел за мой столик. Держал он себя очень скромно: его поза, движения, улыбка и взгляды говорили о могучем притворстве. Я видел его крайне внимательные зрачки и читал в них; казалось, их черный блеск горел рыжим огнем ада. Однако вся моя пророческая проницательность спасова-

ла перед неожиданностью мстительного плана, изобретенного этим Двумичным.

— До удивления,—начал он,—до крайнего удивления похожи мы с вами, сударь. Смеею спросить: кто вы и ваше имя?

Мгновение я колебался: сорвать ли с него маску или играть в незнание. Подумав, я решил быть самим собой, относительно же него держаться наивно, дабы показать врагу все презрение, какое я мог обнаружить таким явно издевательским способом.

Я сказал:

— До крайнего, крайнего удивления. Мое имя—Амивелех. Вы, конечно, не знаете этого. Откуда вы можете иметь в самом деле какие-либо сведения обо мне? Наша страна пустынна, это страна вздохов, и я послан Пророком пророков для страшного труда спасительного злодейства. А вы?

— Я—Марч. Канатоходец Марч.

Он говорил, конечно, подобострастно; но в слове «Марч» слышалась профессиональная гордость. Меня сильно забавляло все это. Дьявол на земле должен иметь профессию. Доверия к профессиональному у людей значительно больше, чем к тем, кто на вопрос о себе невразумительно отвечает:—«Я... собственно... знаете...» и тому подобное.

— Итак?

— Совершенно верно. Я зарабатываю хлеб очень трудным искусством.

— Знаю,—сказал я.—Вы появляетесь над толпой в шелковом раззолоченном костюме. В руках у вас шест. Вы ходите взад и вперед по туго натянутой проволоке, приседаете и подплясываете с похвальной целью доказать всем, что это не так легко, как кажется.

— Совершенно верно, господин Амивелех. Я здорово устаю. Когда я был помоложе, мне легко давались такие вещи, как перейти Ниагару или проскакать на одной ноге несколько футов, а теперь не то. Жаль, что вы, глубокоуважаемый Амивелех, имеете о нашем ремесле туманное представление. Оно очень нелегкое и опасное.

Вы, например... хо-хо! Я говорю, что если бы вы... попробовали... Даже вообразить это нельзя без ужаса. Нет, нет, у меня, знаете, очень мягкое сердце; одна мысль о том, что вам, например, пришло в голову... У меня и голова закружилась... тьфу! Какие иногда бывают смешные мысли!

— Марч!—внушительно сказал я,—я вижу, как извивается и трепещет твоя душа. Спрячь ее.

— Вот так штука!—захохотал он.—Задали же вы мне задачу! Да разве от вас спрячешь что-нибудь! Вы людей насковзь видите!

— А! Ты дрожишь?

— Дрожу, весь дрожу, господин Амивелех. Дело в том, что у меня, знаете, есть воображение. Воображение—это мое несчастье. Оно меня мучает, господин Амивелех, особенно в те минуты, когда ходишь по проволоке. Ты идешь, а оно тебе говорит «Марч, твоя левая нога поскользнулась»...—И не нужно крепко стоять этой ногой. Она утомляется, вздрагивает. Опять голос: «Марч, ты теряешь равновесие... наклонился... падаешь... вот твое тело у земли—три фута, фут, дюйм... удар!» Становится очень холодно, господин Амивелех; пот бежит по лицу; шест тяжелеет, канат стремится ускользнуть из под ног. Я на уровне циферблата соборных часов (раз было так) и я вижу, что стрелки больше не двигаются. Мне нужно еще полчаса увеселять публику. Но стрелки не двигаются... Ах! Вот вам воображение, господин Амивелех; ну, его к чорту!

— Так далеко?—невинно спросил я.—Конечно, ты шутишь опасливый Марч. Но я, я могу помочь твоей беде. Повелеваю: расстанься с воображением!

— Готово!—воскликнул он, подняв с выражением необычайного изумления свои, такие же, как мои, черные глаза к потолку.—Ага! Вот оно и улетело... воображение... дымчатый комочек такой! Чуть-чуть осталось его... совсем немного...

Его притворство становилось невыразимо отвратительным. Он потирал руки и вкрадчиво улыбался. Он об-

шаривал взглядом мое лицо и кричался, как продажная женщина.

— Сегодня в три часа дня,—продолжал он, осторожно понизив голос,—я выступаю на площади Голубого Братства со своей обычной программой. Работая, я буду думать о вас, только о вас, дорогой учитель Амивелех. Я горжусь, что несколько похож на вас... смел ли я быть совершенно похожим?!.. Что судьба оказала мне великую честь, создав меня как бы подражанием великому вашему существу! О, я преклоняюсь пред вами! Вшаа жизнь драгоценна! одна мысль, что каким то чудом вы могли бы оказаться на моем месте, не имея ни малейшего представления о том, как надо держаться на канате... что вы шатаетесь, падаете... какой ужас! Вот он,—остаток воображения. Да сохранит вас Бог! Пусть никогда не-лепая мысль...

Я остановил его жестом, от которого содрогнулись в пыльных гробницах египетские цари. Он искушал меня. Он становился железною пятою своего черного духа на белое крыло моего призвания, и я принял вызов с царственной свободой цветка, безначально распространяющего аромат в жадном эфире!

— Марч!—тихо заговорил я.—На наш невиданный поединок смотрит погибающая вселенная. Так надо и да будет так! Я, а не ты, я в три часа дня сегодня появляюсь на площади Голубого Братства и заменяю тебя со всем искусством жалкой твоей профессии!

— Но...

— Ни слова. Ни слова, Марч!

— Я...

— Молчи! Тише!

— Вы...

— Слушай, не думаешь ли ты, что тайна великой борьбы священна! Умолкни! Когда говорит Амивелех, молчат даже амфибии. Мы отправляемся!

Наступило молчание. За прилавком кафе сидели три кобальда,—свита ненавистного Марча. Я слышал, как шумит в его душе трескучая радость. Что касается меня, то я пере-

живал нечто, подобное величавому грому,—предчувствие пышного торжества. Я знал, что уничтожу черного двойника. Я уже видел его, полный отчаяния, полет в бездну, откуда он появился.

Мы молча смотрели друг на друга. Нас соединял жуткий ток взаимного понимания. Затем Марч, таинственно подмигнул мне, встал и вышел; я не торопясь последовал за ним.

IV.

Когда я очнулся от продолжительного раздумья, в течение которого совершенно не замечал и не мог заметить, что говорю и делаю, и что говорил Марч, я увидел, что стою в просторной полотняной палатке, у стола, на котором лежал расшитый золотом бархатный костюм Марча. Полуприподнятая занавеска входа позволяла видеть часть площади, черную от массы людей. Неясный, хлопотливый гул проникал в палатку. Я видел еще нижнюю часть столбов, между которыми была протянута проволока; дальний столб казался не толще карандаша, а ближний, почти у самой палатки, толщиной в хорошую мачту. Лестница, приставленная к нему, отбрасывала тень на столбе; между лестницей и столбом, среди булыжников, искрилась молодая трава. Помню, меня как бы толкнула эта простота обыкновеннейшего явления: трава, камни. Не более, как на момент, я содрогнулся от сильнейшей тоски. Не будь со мной Марча, я, может быть, оказался бы в начале реакции,—перелома. Я вспомнил о нем, как о дьяволе, и внутренний неизъяснимый удар безумия тотчас же вернул меня в круг ложного озарения.

Замысел Марча, как искуителя, был ясен до очевидности. Зная, что я бессмертен, хитрец этот надеялся,—о, жалкий!—увидеть мое унижение, когда по злобным его расчетам, я, силой его заклинаний, грохнусь с высоты пятиэтажного дома. Ни мало не сомневался я, что именно этим вознамерился вечный мой враг стяжать лавры победителя. Я знал, однако, что не только по проволоке, а

по морской буре могу пройти с легкостью водяной блохи, не замочив ног. Поэтому, сгорая от нетерпения скорее устроить демона своей властью над ничтожной материей, я, оглянувшись на Марча с гримасой, надо полагать, не совсем вежливой, стал раздеваться так порывисто, что оторвал несколько пуговиц.

Разумеется я вел себя, как заправский канатоходец. Хотя Марч помогал мне одеваться, я чувствовал, что мог бы отлично справиться без него. На мне появились трико телесного цвета, короткие штаны голубого бархата с таким обилием позументов, что я напоминал в них сказочную Жар-Птицу, и плюшевая зеленая шляпа с белым пером.

Как только Марч пытался подать мне совет касательно баланса или чего другого, я мигом осаживал его, говоря, что все эти указания бесполезны даже попугаю на жердочке, не только мне, поощему хвалу Духу. Я взглянул в зеркало и подбоченился. Затем я стал дрыгать поочередно ногами, любуясь их формами и упругостью. Послав иронический воздушный поцелуй Марчу, смотревшему на меня,—притворно, конечно,—с беспредельным обожанием, я, подняв голову, вышел из палатки и огляделся.

Ха! Гул и рев! Толпа побелела от поднятых для рукоплескания рук. Здравствуйте, компрачикосы! Я кивнул и стал взбираться по лестнице.

С момента моего выхода меня охватила вдруг подмывающая, как стремительная волна, род нервной насыщенности, заполнившей все видимое пространство. Я как бы двигался в невесомой, бесплотной плотности, делавшей меня частью своей среды, однородно слитой и напряженной в той же степени неуловимо быстрых вибраций, какие,—я потрясенно чувствовал это,—пронизывают меня с ног до головы вихренными касаниями. Я сделался легким, как в отчетливом сне, когда отсутствуют ощущения тяжести и мускульных усилий. Мне было ясно, что я лишь делаю вид, будто подымаюсь, пользуясь, с ответственными тому движениями, пе-

реклинами лестницы. Мной двигало желание двигаться. Я не испытывал, не замечал усилий. Я мог, в том же или ином любом темпе, совершить лестничное путешествие на луну, дыша по окончании его ни чаще, ни медленнее. Только исключительной взвинченностью безумия могу я объяснить такое состояние и то, что произошло дальше.

Подымаясь в подымающемся вместе со мной, застрывшем в ушах, обширном гуле толпы, рассматривая ее овал, охвативший линию натянутой между столбов проволоки, я на теплом ветре, между небом и землей, был соединен с зрителями именно той нервной насыщенностью пространства, о которой я упомянул сейчас. Я не могу объяснить, как я воспринимал токи, подобные электрическим, которые, безостановочно вступая в меня волнистыми усилениями, составляли как бы нечто среднее между настроением, выраженным словами, и яркой догадкой, подтвержденной обострением интуиции. Эти колебания токов, относимые мною тогда за счет пророческого прозрения, я покажу удобнее простыми словами, ставя в вину несовершенству человеческого языка вообще то странное обстоятельство, что мы осуждены читать в собственной душе между строк на невероятно фантастическом диалекте. Я воспринимал следующее:

Он вышел из палатки.

Он приближается к лестнице.

Он лезет по лестнице.

Он продолжает ловко взбираться по лестнице.

Скоро он перейдет на проволоку.

Неизменным основным фоном этих поступлений была уверенность, серьезная, непоколебимая уверенность в том, что я—Марч, искусный канатоходец, покинул палатку и делаю совершенно безошибочно все нужное для того, чтобы произвести ряд опытов напряженного равновесия. Я был патентованным сумасшедшим, но не настолько, чтобы в этом исключительном положении не отмечать некоторую, таившегося захирело и глухо, здоровую часть души своеобразного

действия, производимого влияющим извне массовым тоном уверенности. Представьте человека, связанного по рукам и ногам, в полном неведении относительно срока освобождения; представьте затем, что веревки, замкнуто стянувшие его тело, чудесно ослабевают в сюрпризной, очаровательно доброй постепенности; что обнадуженный человек, пробуя двигать членами, двигается действительно, встает, ходит, подпрыгивает,—и вы получите некоторое приближение к истине моих ощущений, с той разницей, что я нимало не сомневался в родственности своей со всем чудесным и исключительным.

Взобравшись наверх, я уселся в приделанное к концу бревна деревянное кресло, а ноги опустил на толстую блестящую проволоку, тянущуюся от моих ступеней вогнутой воздушной чертой к далекому противоположному столбу с маленьким на нем цветным флагом. Второй флаг, сзади, над моей головой, шелестел под ветром, иногда касаясь лица, и это,—близость предмета, с которым вообще соединено понятие высоты, предмета, употребленного согласно своего назначения—более, чем доказательство глаз, дало мне то острое ощущение высоты, которое одновременно гипнотизирует, туманит и возбуждает, подобно ожиданию выстрела. Я сидел под небом, над охваченной глазами толпой, а передо мной на маленькой специальной рогатке лежал поперек каната длинный тяжелый шест, служащий необходимым балансом.

Послав зрителям воздушный поцелуй, я услышал рев и рукоплескания. О, если бы они знали, кто я! Впрочем я собирался, немного погодя, сойти к ним с проволоки по воздуху. Все вопросы должно было решить это чудесное схождение небесного ставленника. Я решил дать великое откровение.

Радостно засмеявшись, так как очевидность моего торжества была полной, я встал, взял шест (я должен был до времени быть во всем Марчем и, отделившись таким образом от по-

следнего прочного основания, стула, ступил на зыбкую проволоку. Не более, как секунду, я стоял совершенно неподвижно над пустотой с чувством немoty мысли и остолебения; затем двинулся и пошел.

V.

Да, я пошел, и пошел не с большим затруднением, чем то, с каким, расставив руки, способен пройти по ровному толстому бревну всякий человек, вообще умеющий ходить. Оркестр заиграл марш. Я ставил ноги в такт музыки, колебля шест более для своего развлечения, чем по необходимости, так как, повторяю, после первого впечатления внезапности пустоты, я оказался вне губительной нормы. Нормально я должен был оцепенеть, потерять самообладание, зашататься, утратить всю волю физического инстинкта и с отчаянием полететь вниз, не попытавшись, быть может, даже ухватиться за проволоку. Вне нормы я оказался необъяснимо и, главное, самоуверенно стойким, без тени головокружения и тревоги. Я продолжал быть в фокусе напряженных токов, излучаемых огромной толпой; их незримое действие равнялось физическому. Я двигался в совершенно поглощающем мое телесное сознание, незримом хоре уверенности,—знания того, что я, Марч, двигаюсь и буду двигаться по канату, не падая, до тех пор, пока мне этого хочется.

Разумеется, в те минуты я не был занят подробным анализом ощущений. Я восстановил и определил их впоследствии. Я думал, главным образом, о посрамлении Марча, о тех муках, какие должен испытывать он теперь, видя, что его расчеты на мою гибель рассыпались в прах; и о том, что блаженство духовной власти, в соединении с маршем «Славные ребята»—предел восторга, выносимого человеком.

При каждом шаге ноги мои, согласно закона тяжести, находились в вершине тупого угла, образуемого проволокой. Она колебалась, отвечая давлению ноги многократным, разли-

вающимся по всей ее длине, гибким волнением, я шел как бы по глубокому селу. Постепенно, когда я начал приближаться к середине пути, раскачивания проволоки становились сильнее и глубже. Это при почти полной атрофии физического самосознания, при машинальности движения ног, бессознательно принимавших нужное положение, производило на меня страннейшее впечатление. Мне казалось, что между мной и проволокой нет никакой связи, кроме обманчивого подобия взаимной зависимости, что канат таинственным образом подражает—следует моим движениям, и я, если бы захотел, мог бы успешно шествовать над ним, заставляя проволоку также колебаться и оттягиваться вниз, как и следуя по ее поверхности.

Я только что собрался произвести этот опыт,—опыт окончательного презрения ко всяким точкам опоры,—как быстро, но незаметно для себя вынужден был перейти к созерцанию новых, весьма значительных и конкретных прозрений,—результату сложности, возникшей в первоначально однородном тяготении токов. Я мог бы даже сказать откуда, из какой части толпы, шли тяги знаменности оригинальной. Остальные видоизменения токов,—словесная душа их,—воспринимались мной на протяжении всего кольца зрителей; иногда лишь незначительные, дрожащие колебания давали в этой среде недлительные сгустки, подобно скреживанию лучей рефлекторов.

Первоначально стало навеиваться в меня нечто хмыкающее, ровное, как барабанная трель, что, обострив внимание, я безотчетно стал переводить так: «Это акробат Марч, Марч, чувствующий себя на канате, как дома. Вот, мы на него смотрим. Акробаты,—говорят, мы говорим, все говорят,—показывают, иногда, чудеса ловкости. Острое восхищение—увидеть чудеса ловкости. Однако, этот Марч, видимо, не из тех. Он идет по канату, просто идет. А что же дальше? Нам мало этого. Пусть он станет на голову и завертится волчком. Разве это так

трудно—итти по канату? Я не пробовал итти по канату. Я, может быть, попробую. Да. Вдруг—это совсем пустяковое дело? Наверное, это не совсем замысловатое дело. Вот, он идет, просто идет и держит в руках шест, высоко над землей. Он идет, а мы смотрим,—скучно!—как он идет, как будет итти».

Этот чужой идиотизм заставил меня насторожиться. Я охлаждался, начал охлаждаться, как кипятилок, когда в него суют ложку, уменьшает бурление. Я осмотрелся. Я был наравне с крышами. Преглупый вид у крыши! Их выпяченные слуховые окна зевали, как беззубые рты. Внизу весело носилась лохматая собачка, взад-вперед, взад-вперед! У меня тоже был фоксик, я о нем вспомнил теперь и удивился. Зачем, собственно, фоксик Амивелеху? Я кто же такой? Я—Амивелех: да...

Неожиданно в противное густое хмыканье врезался, развеселивший меня, тонкий вздох радости

— Весьма приятно и мы благодарны. Ходите на здоровье. Хорошо видеть ловких людей!

С ним слился второй, немного удушливый

— Какое унижение! Молодой, здоровый мужчина, способен на всякую трудовую пользу, потешает бессмысленную толпу риском разбиться вдребезги.

Я не успевал думать о своем. Я был прикован к хору души, где смешивались все тяги и перекликались волеизъявления. Это начинало мне мешать двигаться, я подходил к другому столбу, но, находясь от него не далее, как в двадцати футах остановился. Я чувствовал себя мошкой, попавшей в чей-то большой, неподвижно смотрящий глаз,—на самое пламя зренья,—в то время, как должен был держать сам в себе все видимое и невидимое. Я решил немедленно сойти по воздуху к зрителям, сбросив жалкую личину канатоходца. Марч не мог быть более в претензии на меня, так как, по моему мнению, я достаточно доказал ему всю невозможность дальнейшей борьбы. Дви-

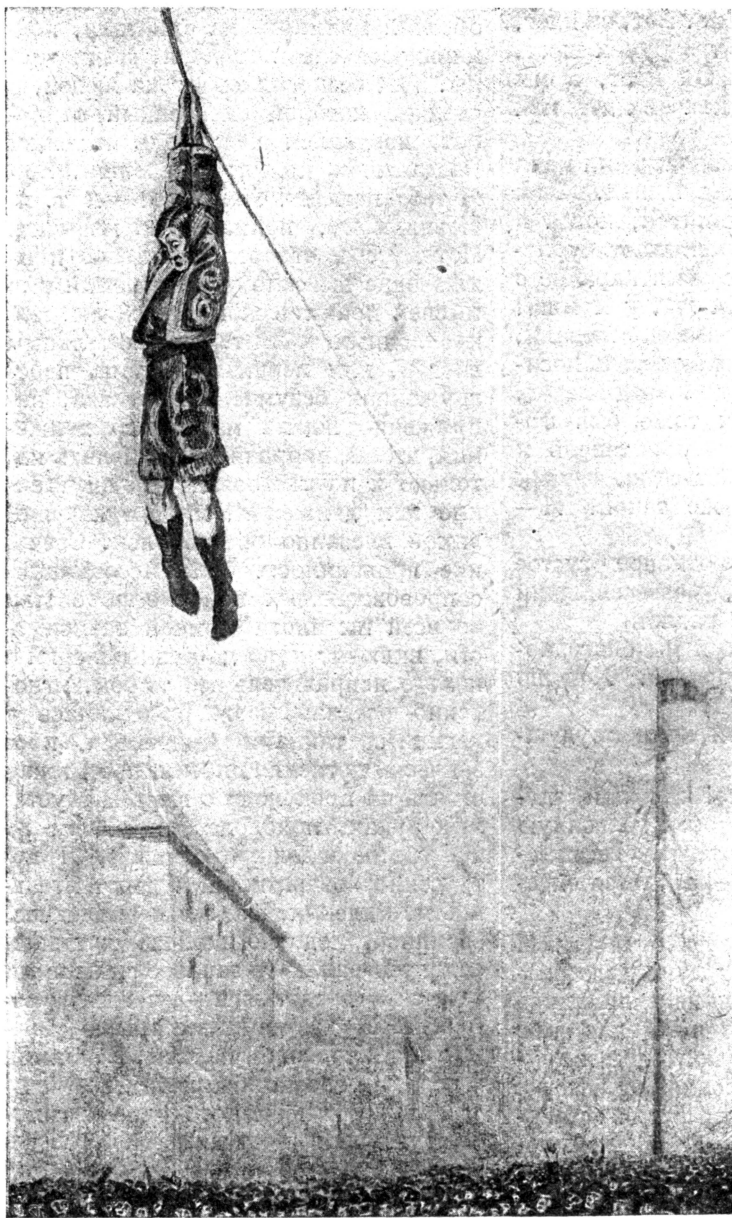
жение по воздуху, надо полагать, окончательно уничтожало моего бессмысленного противника.

Размышляя об этом, я в то же время обратил внимание на суматоху, поднявшуюся слева от меня, сзади толпы. Там бесновалась кучка людей, в середине которой схваченный за ворот, извивался человек в котелке. Раздавались крики: «Мошенник! Вор Я тебе покажу! Полицию!»—и т. п. Повидимому, поймали карманника. Потому ли, что это банальное приключение вызвало у меня целый ряд мыслей практического характера, закреплённых чьим-то пронзительным визгом, или нервная система, перегруженная безумием до отказа, напряженно ждала малейшего движения, чтобы, прорвав плен, излить яд, только я почувствовал, что внутренние мои движения, их сверкающий вихрь внезапно остановился. Сознание прояснилось. Туча ассоциаций, сопровождающих понятие воровства во всей их плотно-земной зависимости, включительно до размышлений о пользе исправительных тюрем, мгновенно оседлав мозг, разодралась с великими тайнами Амивелеха, прозаически погасила их, и я, продолжая стоять на проволоке с шестом в усталых руках, похолодел, несмотря на жару, лихорадочным ознобом. Я потрясенно возвратился к действительности. Видения, жалостно побледнев, взвились, подобно волшебному пейзажу театрального занавеса и за ними сам себе предстал я—лунатик, разбуженный на карнизе крыши, я—чиновник торговой палаты, Вениамин Фосс, над грозно ожидающей пустотой, в костюме канатоходца с головокружением и отчаянием.

Давно уже настойчивый холод (понятия времени, разумеется, здесь очень условны) отвратительного желания, разлитого в толпе, осенял меня убийственными посылами. Теперь усилилось людоедское тяготение. Меня попросту желали видеть разбившимся. Началось это глухо и спрятанно, как чирканье спичкой поджигателем, опасаящимся произвести шум. Желавшие не хотели желать.

Они рассматривали свои черные мысли, как неотчетливую игру ума. Однако, хотение это было сильнее

нечетких в этом раздражающей зрительной точкой—мною, могущим потерять равновесие. Я читал:



Я выпустил канат с ощущением стремительного полета вверх...

принципов минимальной гуманности. Раздвигая корни, оно укреплялось в податливом сознании душ с неуклонностью вождения. Его зараза действовала взаимно среди всех, объеди-

«Почему ты не падаешь?! Мы все очень хотим этого. Мы, в сущности, явились сюда за тем, чтобы посмотреть, не упадешь ли ты случайно с каната. Все мы можем упасть с каната, но ты не падаешь, а нужно, чтобы ты упал. Ты становишься против всех. Мы хотим тебя на земле, в крови, без дыхания. Надо бы тебе зашататься, перевернуться и грохнуться. Мы будем стоять и смотреть, надеяться. Мы желаем волнения, вызванного твоим падением. Если ты победишь наше желание тем, что не упадешь, мы будем думать, что когда-нибудь кто-то, все-таки, упадет при нас. Падай! Падай! Падай! Ну же... Падай, а не ходи! Падай!...»

Я смутно, с ужасом, воспринимал это. Я, действительно, шатался. Шест бешено прыгал в моих руках. Каждое, казалось бы, целесообразное усилие вызывало неопределимое волнение проволоки.

Спина и ноги готовы были сломаться от напряжения. Площадь, заполненная народом, кружилась и опрокидывалась; на нее стремглав падало небо. Солнце пылало у моего лица.

— Спасите! Спасите!—закричал я. Дальнейшее не во всем подвластно памяти. Я выпустил шест, мгновенно черкнувший воздух; затем, согнувшись, ухватился руками за канат и повис, содрогаясь от потрясения. Канат, вследствие сильного толчка, вызванного внезапно повисшим телом, бешено раскачался. Проволока резала руки. С воплями, в отчаянии бессмысленной смерти сопротивляясь падению, я, наконец, испытал нечто напоминающее насильственное, грубое разжатие пальцев. Это было очень болезненно. Я выпустил канат с ощущением стремительного полета вверх и сознание мое смолкло.

Я упал в сетку. Помощники Марча успели, подбежав как раз вовремя, растянуть ее подо мной. Суматоха, поднявшаяся после этого несчастного случая, доставила мне множество неприятностей. Марч скрылся. Два дня я доказывал следствию и корреспондентам, что, будучи Фоссом, никак не могу быть Марчем. Самоличность моя, подтвержденная второстепенными физическими различиями и показаниями моей семьи, установила, однако, что я, даже на пристальный взгляд, несомненно, разительно схож с Марчем, не исключая голоса и еще кое-чего, не сразу охватываемого зрением.

Я объяснил приключение капризом, похмельною фантазией; хождение объяснил гимнастикой юности... «Так ли?» Этот вопрос, может быть, мысленно задавали многие, знающие меня. Но кто им ответит? Я спрятал

правду в момент своей болезни, навсегда оставившей меня после каната. Я не испытывал даже легчайших приступов. Идея величия безвозвратно померкла. Я слышу «падай!» всякий раз, когда при мне произносят сколько-нибудь заметное, отрешившееся в особую жизнь, имя. Между тем, я очень люблю людей. Их неудержимо страстное отношение к чужой судьбе заставляет внимать различного рода рукоплесканиям с пристальностью запоздавшего путника, придерживающего пальцем спуск револьвера. Кислота лучше помады заставляет блестеть железо. Вот, это бы железо...

Поиски Марча привели, мне кажется к весьма удовлетворительному разъяснению его авантюры. Его жизнь была застрахована крупной суммой, — значительным состоянием, а ряд шантажей, жертвами которых являлись богатые истеричные дамы, заставлял думать о безопасности. Раскалив податливого безумца, так заметно похожего на него, Марч после неминуемой, по его расчетам, моей, смерти, — при первых же шагах по проволоке, — получал через жену страховую премию, а через гроб Фосса-Марча загробную жизнь под любым именем.

Мне кажется, мое толкование правильно. Я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я каждый день люблю за его здоровье. Это мой избавитель. Его портрет вы можете видеть в «Вестнике цирковых деятелей» за 1913 год. В нем нет ничего дьявольского.





Рассказ ф. Бриттен-Остика.

М-р Тодморден поднялся с мягкого вагонного дивана и сказал тоном человека, оканчивающего долго длившуюся беседу.

— Вот моя станция, джентельмены; мне нужно выходить. Но все же вы никогда не убедите меня, что можно совершить преступление помимо воли. Я никогда не поверил-бы негодяю, сославшемуся на случайность, когда его поймали на месте преступления. До свидания...

В сущности м-р Тодморден, высказываясь так свирепо против воображаемого преступника, был далек от раздражения. Он вовсе не был злым человеком. Наоборот, когда он шел по платформе толстенький, маленький с приветливой улыбкой, озарившей его добродушное круглое лицо, поблескивая большими старомодными очками,—он казался именно тем, чем и был,—добродушным дельцом из Сити старого закала, добряком, какие уже редки теперь среди энергичной деловой молодежи.

У него, как у всякого старого человека, была своя гордость и свои предубеждения. Так он очень гордился своей практикой в качестве нотариуса, которую создал и упрочил своей исключительной честностью и отзывчивостью; но он был предубежден против всех преступников и ни за что не соглашался с теми, кто пытался хотя бы робко их защищать.

Был теплый летний вечер; солнце уже закатилось и светлые блики бы-

стро сбежали с дорожек и заборов, сменяясь ароматным летним сумраком, когда м-р Тодморден шагнул по улице небольшого городка по направлению к своему дому. Внезапно он остановился и начал внимательно, поверх очков, рассматривать большой дом-виллу, стоявший немного в стороне от дороги. Длинная лестница, прислоненная как раз к большому окну на втором этаже—это и был предмет, привлечший его внимание.

— Гм,—пробормотал он,—мисс Хартлей опять перекрашивает свой дом.

Мисс Хартлей была одной из его старых клиенток. Их отношения не ограничивались только деловыми визитами, но, как люди долга, живущие в одном маленьком городке, они были друзьями. Она была старая дева, жизнерадостная и здоровая, но со странностями, присущими старым людям. А он, старый холостяк, ведущий весьма регулярный образ жизни. Почему бы им и не быть друзьями? И он уже давно был ее поверенным и другом дома и горячо принимал к сердцу все ее дела.

Поэтому, естественно, что лестница, по небрежности оставленная рабочими на ночь, вселила в его душу какую-то смутную тревогу. Он всегда ей повторял, что жить одной в большом доме для нее небезопасно, и одна служанка, жившая с ней, ничем не может ей помочь в случае какого-нибудь грабежа или нападения.

— Чорт возьми,—проговорил он,—лестница поставлена чрезвычайно удобно для воров. Ах, Боже мой, что за небрежность!..

Он подошел ближе. Лестница упиралась как раз в свежее окрашенное окно комнаты во втором этаже.

— Ай, ай, да это окно спальни мисс Хартлей,—сказал он.

Он колебался. Следует ли позвонить, вызвать мисс Хартлей и указать ей на вопиющую небрежность рабочих? Но мысль о том, что вечерний звонок напугает старую деву, остановил его. Она всегда называла его трусом и теперь несомненно осмеет его. И он направился домой.

— Нет, в самом деле, это ужасно глупо,—думал он.—Жить с одной глупой деревенской девчонкой в таком большом доме—как это неосторожно. Ведь ее так легко ограбить. Стоит только взобраться по этой лестнице, и готово... И она еще не слушает меня, когда я советую ей положить драгоценности на сохранение в банк. Боже мой, как глупо!..

Затем м-р Тодморден вспомнил, как он чуть не поспорился с мисс Хартлей из-за ее прекрасной бриллиантовой броши: она носила ее всегда и ни за что не хотела отдать на сохранение.

— Ну, и пусть делает, как хочет.

Он махнул рукой и пошел дальше, думая о брошке. В самом деле, брошка была очень красивая и ценная вещь. Все невольно обращали на нее внимание.

— Вашу брошку так и хочется украсть,—говорил он шутя старой деде.

Потом он почему-то вспомнил о своем деде, замешанном в какую-то темную уголовную историю с убийством и грабежом. Этот дед был тем-

ным пятном в генеалогии семьи Тодморден. Но он надеялся, что своей полезной деятельностью сумел сгладить это неприятное воспоминание, пятнавшее честное имя Тодморден. Уважаемый всеми, состоятельный, ол-



— Гм...—пробормотал он—мисс Хартлей опять перекрашивает свой дом.

дермен в настоящее время, он надеялся в недалеком будущем на получение титула. Словом, дела м-ра Тодморден шли хорошо и уже редко кто вспоминал о его неприятном дедушке.

Вернувшись домой, он проглотил свой одинокий ужин, подкрепив его полубутылкой любимого портвейна. И опять вспомнил о брошке мисс Хартлей, о лестнице, точно приготовленной для грабителя, и о своем преступном дедушке. Он вынул из шкапа старый том судебных отчетов.

Откупорив новую бутылку вина, он еще раз прочел отчет о преступлении своего деда.

— Очень странно, очень странно... задумчиво повторял он.— Но с тех пор прошло много времени и мы, потомки, надеюсь, загладили преступление своих предков.

Он самодовольно улыбнулся и отправился спать. Неприятные воспоминания о деде отлетели прочь.

Утром он отправился на станцию в обычное время, чтобы попасть на поезд, с которым всегда ездил в Лондон. У ворот дома мисс Хартлей стояла группа людей и о чем-то взволнованно переговаривалась, указывая на дом.

Смутная тревога охватила его. Он ускорил шаги и протолкался к дому.

— В чем дело? В чем дело, господода?—спрашивал он.

— Убийство... Бедная мисс Хартлей...—раздался нестройный хор голосов.

— Боже мой!..—вскричал он и побежал в сад.—Боже мой!..—повторял он, нажимая кнопку звонка. Он не мог собрать мыслей и весь дрожал от волнения.

Дверь открыл полисмен. За ним стояла служанка, бледная и заплаканная. Она бросилась к нему.

— О, сэр!..—воскликнула она и зарыдала.

— Ничего, ничего, Эллен,—сказал он, отстраняя ее, и обратился к полисмену.—Что случилось, констебль? В самом деле—убийство?

— Да, сэр; боюсь, что так. А вы родственник старой лэди, сэр?

— Нет, но я ее поверенный в делах и старый друг. Боже мой, Боже мой, какой ужас... Есть здесь кто-нибудь из начальства, констебль?

— Наверху два инспектора, сэр. Могу я их видеть?

Он пошел в спальню. Там были два полицейских инспектора. Они поздоровались с ним с сознанием собственного достоинства. На постели лежало тело, покрытое простыней. М-р Тодморден приподнял простыню и посмотрел в лицо покойной. На

лбу зияло маленькое отверстие — след от револьверной пули. Он отвернулся, потрясенный до глубины души. Он едва мог взять себя в руки.

— Есть какие-нибудь предположения?—спросил он дрожащим голосом.

— Пока нет.

— Боже мой, какое преступление. Она была моим старым другом. Моим лучшим другом. Ужасно, инспектор, ужасно. И вот что странно: у нее совершенно не было врагов, насколько мне известно...

А, скажите, есть следы грабежа?

— Нет, сэр, повидимому, ничего не похищено. Все вещи на своих местах. Может быть, что нибудь спугнуло убийцу и он поспешил скрыться...

— Когда было обнаружено преступление?

— Утром, когда горничная принесла чай старой лэди. Она утверждает, что ничего не слышала. Она говорит, что крепко спала.

— И ничего не пропало?

— Повидимому, ничего, сэр. Ящики были закрыты и ключи лежали, как всегда, под подушкой у покойной. Все было в порядке.

— Гм, а не заметила-ли девушка исчезновение какой-либо вещи?

— Не знаю, сэр.

— Позовите ее, пожалуйста, и спросите.

Эллен внимательно осмотрела все вещи. Внезапно она вскрикнула:

— Бриллиантовая брошка! Я положила ее вечером сюда...—и она указала на ночной столик.—Она исчезла.

— Вот странно...—сказал м-р Тодморден.

Полицейские быстро повернулись к нему.

— Вы что-нибудь подозреваете, сэр?

— Нет, нет,—ответил он сконфуженно.—Я, вы знаете, как раз думал об этой брошке вчера вечером... Я часто предостерегал мисс Хартлей и вот... бедная женщина..

— Вот как!—в один голос сказали полицейские.

И м-р Тодморден в этом быстром возгласе послышались какие-то странные нотки. Наверное, полицейские думали, что он кого-то подозревает.

— Видите-ли... я полагаю, что, вор... или убийца... влез к мисс Хартлей по приставной лестнице.

— Лестница? Какая лестница!— спросил инспектор.—О какой лестнице вы говорите?

— Вчера около шести часов вечера я, проходя мимо, видел, что к вот этому самому окну прислонена лестница. Дом, как вам известно, перекрашивается и ремонтируется. Увидев лестницу, я даже подумал, что это прекрасный случай для воров забраться к мисс Хартлей. Больше того, у меня даже мелькнула мысль позвониться и обратить внимание хозяйки на эту небрежность. Очень жалко, что не сделал этого.

— Гм!

Инспектор, повидимому, сомневался в словах м-ра Тодморден. Было ясно, что тут задета его профессиональная гордость: мог-ли кто-нибудь, кроме него, составлять теории, ведущие к раскрытию преступления.

— Что-ж, может быть и так,— продолжал он.—Но я полагаю, что можно подыскать и более подходящее объяснение того, каким путем вошел убийца. По-моему, совершенно невероятно, чтобы маляр был так неосторожен и оставил лестницу на целую ночь, сэр.

— А я вполне уверен, что негодяй взобрался именно по этой лестнице.

Это резкое и положительное утверждение вырвалось у м-ра Тодморден совершенно помимо его воли. Он даже сам удивился, как мог он так определенно утверждать? Откуда эта странная уверенность? Ему стало неловко. Он деланно улыбнулся.

— Ну, хорошо, я сейчас должен ехать в город, меня там ждут неотложные дела. Но я еще зайду сюда на обратном пути со станции. Если же вы в мое отсутствие найдете что-нибудь интересное и наводящее на разгадку, будьте любезны сообщить мне. Вот моя карточка.

Он сдержал свое слово и на обратном пути, вечером, зашел в полицейскую контору. Его встретил главный инспектор.

— Очень таинственное преступление, м-р Тодморден! Очень странное дело!

— И кроме того—ужасное,—замечтил старый джентльмен.—Мисс Хартлей была довольно странная женщина, с некоторыми причудами, я-бы сказал. Я чувствую себя до известной степени ответственным за происшедшее. Вчера вечером мне в голову приходила мысль о возможности такого преступления и я должен-бы был предупредить его, или хотя-бы попытаться его сделать. Я себе никогда не прощу этого упущения.

— Вы утром упомянули о лестнице. Мы наводили справки. Действительно, она стояла у окна всю прошлую ночь и была переставлена рабочим в шесть часов утра. Вы, повидимому, правы: убийца проник в дом по этой лестнице. Он, уходя, оставил окно открытым.

— Я был уверен в этом,—сказал м-р Тодморден.—Но вы не нашли никаких указаний на личность преступника?

— Кое-что есть. Правда, очень мало. Постовой полисмен рассказывает, что около двух часов утра он видел человека, бежавшего по дороге по направлению от виллы мисс Хартлей. Человек был одет очень легко, полисмену показалось, что на нем был легкий фланелевый костюм. Неправда-ли, странный костюм для грабителя? Вы согласны со мною? Полисмен еще говорит, что, несмотря на то, что человек бежал быстро, он не слышал его топота. Повидимому, на нем была мягкая обувь. К несчастью, полисмен растерялся и человек, повернув за угол, исчез.

— Вот так штука!—сказал м-р Тодморден.

Он слушал рассказ инспектора очень рассеянно. Его мысли были заняты другим: в описании бегущего ночью человека ему почудилось что-то

страшно знакомое. Казалось, что он заранее угадывал это.

Это походило на галлюцинацию, но ему казалось, что он видит самого себя, бегущего ночью по широкой сельской дороге, бегущего быстро и бесшумно. Он отогнал назойливые видения.

— Странно, очень странно!

Инспектор смотрел на него исподлобья.

— Я не думаю, чтобы вы могли рассказать нам что-нибудь, что помогло-бы нам, м-р Тодморден,—сказал он медленно.—Не знаете-ли вы кого-нибудь, кто питал-бы вражду к старой лэди?

— Конечно, нет. Она была прекрасная, добрая женщина.

— Ну, а как вы думаете, кто мог-бы выиграть в случае ее смерти? У нее были родственники?

— Только один племянник; он является ее единственным наследником. Он живет в Америке. Я уже телеграфировал ему и получил ответ.

— Ах, так он за границей?

— Конечно, конечно.

— Мне очень странно, м-р Тодморден, что пропала именно брошь. Почему убийца взял только брошь? Он, повидимому, искал ее и не тронул больше ничего. Не знаете-ли вы кого-нибудь, кто интересовался бы этой брошкой?

— Не знаю. Мисс Хартлей всегда носила ее. Я часто ей говорил, что не советую носить такую ценную вещь постоянно, даже на улице. Кто-нибудь мог заметить, что брошь представляет большую ценность и...

— Да, да конечно. Странная история, м-р Тодморден, очень странная. Признаюсь вам, я не вижу ни луча света в этом темном деле... Ну, а как ее дела? В порядке, надеюсь?

— Совершенно. Я слежу за ее делами. Все в полном порядке. Имя нашей конторы «Тодморден и Бэйнс» является известной гарантией в том, что интересы наших клиентов хорошо охраняются. Но, если хотите, я могу доказать это. Завтра я проверю книги и счета.

— О, это совершенно не нужно,

дорогой сэр, я вам верю и так. Я прекрасно сознаю, что поступил неловко, предложив вам подобный вопрос.

— Не надо извиняться. Я не менее вас заинтересован в поимке убийцы. Я интересуюсь этим делом не только как адвокат мисс Хартлей, но и как ее старый друг. Я не успокоюсь до тех пор, пока убийца не будет передан в руки правосудия.

Я думаю, что нужно назначить награду. Я лично готов предложить сто фунтов в качестве награды. Будьте добры объявить об этом.

Когда м-р Тодморден вернулся домой, он выглядел постаревшим на несколько лет. Он был страшно удручен потерей доброго старого друга и горел мстью к неизвестному преступнику. Ах, если-бы только он мог добраться до преступника!

— Если его не поймут в течение недели, я удвою награду,—подумал он.

Это его несколько успокоило.

Рассеянно ел он свой ужин, все время неотступно думая о преступлении, и потом, усевшись в мягкое вольтеровское кресло, продолжал размышлять, кто мог совершить это дикое, непонятное преступление, ради обладания какой-то брошкой?

Он думал напряженно, до изнеможения, и ничего не выяснил.

Совершенно обессилив в борьбе с логическими нелепостями, он вздохнул и начал раздеваться, чтобы лечь спать.

Ах, если-бы он встретил убийцу! Он задушил бы его собственными руками, этого злодея!

Надев ночную пижаму, он почувствовал, что в ее кармане лежит какой-то небольшой твердый предмет. Машинально он опустил руку в карман, вынул его и замер, как пораженный громом, с глазами, готовыми от ужаса выскочить из орбит.

В его руке лежала бриллиантовая брошь мисс Хартлей!..

С ужасом и недоумением смотрел он на брошь. Что случилось? Уж не помешался-ли он? Может быть, его

мозг не выдержал ужаса событий дня? Не мираж-ли это?..

Но нет, он чувствовал, что это не галлюцинация. Да, брошь, та самая брошь, которая пропала из комнаты убитой, лежала на его дрожащей ладони.

Не является-ли он жертвой чьей-нибудь злой проделки? Невозможно! Что за шутки, политые кровью!

Может быть, это галлюцинация? Нет, он ощущал металл оправы и ряд бриллиантов искрился и переливался всеми цветами в лучах электрической лампы.

— Боже мой! пробормотал м-р Тодморден, падая в кресло. Мысли лавиной неслись в его воспаленном, горящем от нечеловеческого напряжения мозгу.

Как попала брошь в карман его пижамы?

Кто-то положил ее туда.

Кто-то! Но кто? Кто сумел пробраться к нему в спальню и положить в карман его пижамы проклятую брошку? Слуги?

Он мысленно оценил честность каждого из своих слуг. Не может быть. Кто же, в таком случае?

Нет, нет, он сходит с ума... этого не может быть! Ведь не сам-же он! Это абсурд, бессмысленный дикий абсурд! Ведь он лег спать и спал крепко, без снов...

Или это и был сон: воспоминание о человеке, быстро и бесшумно несущемся по пустынной улице? Глупости! Немыслимо! Он... Ведь не мог-же он сам пойти ночью и убить своего старого друга? Какой вздор!

Он взглянул на портрет мисс Хартлей и ему показалось, что в уголках ее рта залегли какие-то скорбные иронические складки.

Но кто-же тогда? Кто?

Несбысленно. Но...

Нет, нет! Этого не может быть! Это не он, не он! Он не мог этого сделать! Он спал!

Но может быть...

Блеснула маленькая острая, как жало, мысль. Он вскочил, подбежал к столу и, выдвинув ящик, вынул револьвер... Дрожащими пальцами он



С ужасом и недоумением смотрел он на брошь...

повертывал барабан. Все-ли заряды целы?

Что... что это? Один патрон был использован.

Значит... о, Небо!.. что-же это?..

У него кружилась голова.

Как? Зачем? Почему? За что?

Как ударами молота эти страшные вопросы бились в его горящий мозг.

Обхватив пылающую голову руками, он упал в кресло.

Безумие? Ведь безумие приходит внезапно... Да, он сошел с ума! Он сошел с ума!

Уже несколько часов он быстро шагал по комнате, вперед, назад, вперед, назад... Демоны ночи впились в его бедную голову своими острыми когтями и рвали на части его жалкий мозг...

Он убил своего лучшего друга! Ах, лучше-бы он умер сам.—Лучше смерть, чем сознание своего преступления и... безумия!

Но как, как он это сделал? Как мог он убить и не сохранить ни малейшего воспоминания об этих ужасных минутах?

Это немыслимо!..

Он посмотрел на брошь и подумал: — Но это так.

Чудовищная, безумная, дикая правда.

Он не помнил, как добрался до постели. Все в нем кипело... Невроятная борьба реальности и логики продолжалась с неудержимым бешенством.

Мозг кричал—нет!

Факты холодно говорили—да!

Тайна! Страшная, безумная тайна!

И, обессиленный, близкий к потере сознания, он бросился в постель и заснул тяжелым сном, полным кошмаров...

Внезапно он проснулся. Полная темнота. Почему вдруг стало темно? Он прекрасно помнил, что не потушил света, когда упал на постель.

Он поднялся. Что у него в руке? Книга. Почему — книга? Удивленный он протянул руку к стене, где был выключатель. Сейчас он повернет кнопку и комната zalьется светом. Он увидит, что это за книга и как она попала к нему.

Рука его не встретила кнопки. Гладкая стена. В изумлении он сделал несколько шагов, шаря рукой по стенке. Вот и кнопка. Какой сильный свет... Что это?

Он был не в спальне, а в гостиной.

В руках у него был отчет о преступлении деда. Теперь понятно все. Все до ужаса просто.

Он—лунатик.

Он дико вскрикнул и упал в обморок.

Очнулся он, когда солнце уже заливало комнату яркими лучами и электрические лампочки казались желтыми под лиловатыми пятнами.

Он поднялся на ноги и потушил свет. Несколько минут стоял он, стараясь собрать мысли и понемногу, по мелочам, он вспомнил все события вчерашнего дня.

И опять ужас сжал его мозг железным кольцом.

Он преступник! Убийца!

Убийца—какое ужасное слово.

Снизу доносились шаги прислуги. Подозревают-ли они? А если они знают?..

Страшно осунувшийся, дрожащий, старый-старый, согнувшийся под тяжестью ужасов ночи, он, шатаясь, побрел в спальню.

Как спастись, как выйти из ужасного положения, как уйти от полиции и... от самого себя? Он не был больше почтенным, уважаемым м-ром Тодморден; он был убийцей и грабителем. И фурии преследовали его.

Но спастись нужно, нужно... Иначе... что, иначе..!

Надо думать, упорно думать. Раньше всего, брошка. Она выдаст его с головой. Ее нужно бросить в воду, сбросить в глубокую Темзу с Лондонского Моста. Да, да, это выход. С исчезновением брошки исчезнет главная улика. Кому придет в голову подозревать его?

Он вздохнул с облегчением. Выход был найден. Да, он может спастись.

Но главное—сдержанность, выдержка. Он утроит награду. Это отведет от него всякие подозрения.

Но может быть, остались еще следы? Надо удостовериться. Ах, да, полисмен видел, что бегущий человек был легко одет. Может быть, в пиджаму?

И опять он вспомнил свой сон, галлюцинацию бегущего человека. Да, да, бегущий был одет в пиджаму—теперь он вспомнил.

Он внимательно осмотрел свою

пиджаму. Нет-ли где пятен крови или других следов?..

Да, да. Вот на левой ноге снаружи пятно от масляной краски, которой было свежее окрашено окно спальни мисс Хартлей.

Как быть? отдать в стирку—избави бог! Прачка может заподозрить и тогда... Нет, пиджаму надо уничтожить, уничтожить во что бы то ни стало.

Мелькнуло в мозгу полдюжины фантастических планов. Вздор! все они никуда не годны... Что сделать с этой проклятой пиджамой?

И еще одна мысль метнулась в мозгу: револьвер. В нем среди свежих патронов есть один использованный. Надо его вынуть и вставить новый. Лихорадочно быстро он зарядил револьвер заново.

И вдруг... стук в дверь!

Он быстро сунул револьвер в карман и замер в ужасе.

Стук повторился.

Он пробовал ответить и не мог: спазмы схватили горло.

Стук повторился настойчивее.

— К...кто тут?—хрипло спросил он.

— Извините, сэр, инспектор полиции хочет с вами немедленно увидеться.

М-р Тодморден с трудом старался говорить естественным тоном.

— Хорошо. Скажите ему, что я сейчас оденусь и выйду.

— Простите, сэр, он сказал, что не может ждать, что дело весьма важно.

Заподозрили? Догадались? Нет—невозможно!

— Проводите его в маленькую приемную,—сказал он, серживая дрожь в голосе.

Он быстро накинул халат. Нельзя терять ни секунды. А вдруг?.. И повинуясь какому-то властному им-

пульсу, он положил в карман револьвер.

Что еще? нет-ли еще каких-нибудь следов? Он взглянул на себя в зеркало. Вот—на курточке пиджамы не хватало одной пуговицы. Где он ее потерял? Неужели—там? Почему именно там?

Однако нельзя заставлять полицию ждать. Он запахнул халат и вышел в приемную.

Главный инспектор ждал его. Он заметил, что на лице полицейского мелькнуло удивленное выражение.

— Я плохо спал, инспектор,—сказал он, заметив этот взгляд и чувствуя, что должен что-то сказать.

Инспектор сделал гримасу соболезнования.



Он быстро шагнул к старому джентльмену и запахнул его халат...

— Могу вас обрадовать, м-р Тодморден. Мы нашли кое-что, маленький след, кое-какие улики,—сказал он, быстро взглянув на старого джентльмена.—Мы нашли пуговицу. Интересно то, что это пуговица от пиджамы.

— Да?—у м-р Тодмордена пересохло в горле.

— Странная одежда для грабителя—пиджама, неправда-ли, сэр?— продолжал инспектор.

— Д... да... странно...

Он всеми силами старался не выказать своего волнения.

— Очень, очень странно...

Нужно говорить, все равно что, но говорить.

— Между прочим, инспектор, я думал относительно награды и решил устроить ее. Я... я решил во что бы то ни стало добиться поимки негодяя.

— Очень признателен вам, сэр. Я думаю, что скоро попрошу у вас чек на банк. Мы напали на след, сэр. Нам необходимо только установить, где та пиджама, пуговицу от которой мы нашли, и дело наполовину будет закончено.

— Да, да... конечно, закончено.

Ах, чорт возьми, неужели эта бесяда никогда не кончится. М-р Тодморден чувствовал, что еда держится на ногах.

— Если бы мы нашли пуговицы из того же комплекта, что и первая, мы могли-бы начать расследование.

Вы знаете, не все пуговицы у пиджам одинаковы. Я сравнивал эту пуговицу с моими, но она не подходит. Знаете, сэр, даже пуговицы у пиджам бывают разных сортов. Это мелочь, конечно, но на мелочи строится многое. Может быть, вы позволите мне, сэр, сравнить ее с вашими пуговицами? Разрешите мне...

Он быстро шагнул к старому джентльмену и распахнул его халат... Вместо одной пуговицы сиротливо висел обрывок нитки. Остальные пуговицы были такие-же, как и найденная.

Торжество отразилось на лице инспектора.

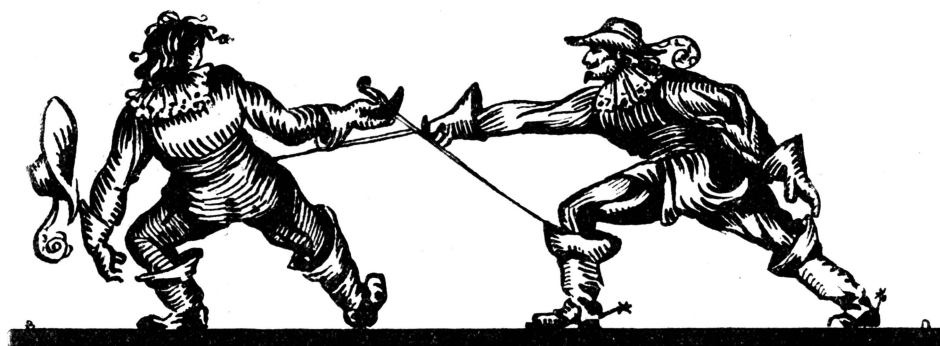
— Джеймс Генри Тодморден, именем закона я...

М-р Тодморден быстро отскочил прочь. Со сдавленным криком бешенства он выхватил револьвер.

Раздался выстрел и тело старика распласталось на полу. Инспектор посмотрел на него.

— Я был уверен, что это его дело. Старый негодяй чисто сделал свое дело,—сказал он.





БРИЛЛИАНТ МАЗАРИНИ

Рассказ А. Конан-Дойля.

Доктору Ватсону было очень приятно вновь посетить уютную гостиную его старой квартиры на улице Бекер-стрит. Да, эта комната была свидетельницей многих интересных приключений!

Он с любовью оглядел такие близкие и знакомые вещи, карты и диаграммы по стенам, стойку с пробирками и колбами, полными разноцветных химических составов, футляр от скрипки, брошенный в угол, угольную корзинку, в которой спокон века оригинал Холмс держал табак и свои трубки. Единственно новым элементом этого привычно-знакомого пейзажа старой гостиной была розовая, смеющаяся мордочка Билли.

Этот мальчик был новый слуга Холмса, умный и расторопный лап, прекрасно оберегавший покой Холмса от всех внешних вторжений, гордившийся

тем, что служит у великого человека и делавший вид, что частица ореола Холмса приобретена не без его участия.



Он с любовью оглядел такие близкие и знакомые вещи...

— Все по-старому, Билли—сказал Ватсон.—Вы все тот-же. Я надеюсь, что и Холмс не изменился к худшему?

Билли немного опасливо посмотрел на закрытую дверь во внутренние комнаты.

— Я думаю, что он еще спит,—сказал он.

Было семь часов ясного зимнего вечера, но д-р Ватсон, зная нерегулярный образ жизни своего друга и будучи своим человеком, был уверен, что не беспокоит его своим неурочным посещением.

— Это, насколько я понимаю, значит, что он занят какой-то новой загадкой?—сказал он.

— Совершенно верно, сэр; случай, повидимому, очень серьезный и м-р Холмс очень им озабочен. Я даже начинаю побаиваться за его здоровье. Он худеет, бледнеет и ничего почти не ест. Миссис Гудсон спрашивает его.—«Когда вам будет угодно ужинать м-р Холмс?»—«После завтра в половине восьмого»—его обычный ответ. Вы ведь знаете, сэр, его полное пренебрежение к жизненным удобствам, когда у него трудное дело.

— Ну, еще бы не знать, Билли.

— Он кого-то преследует. Вчера он был одет как ремесленник, ищущий заработка. А сегодня он нарядился старухой. Сперва все это показалось мне довольно странно, но потом я вспомнил, что так делают все сыщики. А вот и остатки от его утренней старухи.

И Билли кивнул на старый рыжий зонтик, небрежно брошенный на кушетку.

— Но в чем дело, Билли?

Билли понизил голос до шопота, точно сообщая государственную тайну.

— Видите-ли, сэр, *вам* я не боюсь сказать, но это должно остаться между нами. Дело идет о бриллианте из королевской короны.

— Как? Это о той самой краже на сто тысяч фунтов?

— Именно, сэр. Этот бриллиант нужно вернуть во что бы то ни стало.

В самом деле, сэр, у нас были и премьер-министр и министр внутренних дел и оба сидели вот на этой самой кушетке. М-р Холмс был с ними очень, очень любезен. Он обещал им сделать все что можно и они уехали очень довольные. Потом еще был лорд Кэнтльмир...

— Да неужели?

— Правда, сэр. А вы знаете что это за птица? Неприятный человек. Мне очень нравится премьер-министр, я ничего не имею против министра внутренних дел, он очень похож на обыкновенного добропорядочного мещанина, но я терпеть не могу его сиятельство лорда Кэнтльмира. И м-р Холмс, повидимому, тоже не симпатизирует ему. Он, видите-ли, не верит в способности м-р Холмса и был против того, чтобы поручать ему дело. И, мне кажется, он был-бы рад, если бы м-р Холмс не сумел найти бриллианта.

— И м-р Холмс это знает?

— М-р Холмс всегда знает то, что ему следует знать.

— Ну, будем надеяться, что Холмс победит и лорд Кэнтльмир останется с носом. Но, Билли, зачем у вас висит эта драпировка перед окном?

— Дня три назад ее повесил м-р Холмс. За этой драпировкой довольно забавная штука.

Билли отдернул драпировку, закрывавшую глубокую нишу с большим итальянским окном.

Д-р Ватсон не смог сдержать возгласа удивления. В глубоком кресле спиной к нему сидел двойник Холмса, в халате в спокойной позе, точно читая книгу. Билли осторожно снял восковую голову манекена и повернул ее в руках.

— Мы повертываем его под разными углами, чтобы он выглядел совсем как живой. Я ни за что не осмелился бы так вольно обращаться с ним, если бы на окне не было еще шторы...

— Да и мы когда-то пользовались такой штукой.

— Ну, это было еще до меня.—сказал Билли.

Он слегка отогнул штору на окне и посмотрел на улицу.

— Нас весьма зорко караулят, сэр. Вот сейчас я вижу одного молодца в противоположном окне. Взгляните-ка сами, сэр.

Но едва Ватсон сделал шаг к окну, отворилась дверь спальни и на пороге показалась высокая стройная фигура Холмса; он был худ и бледен больше обыкновенного, но на лице лежала печать силы и какой-то лихорадочной энергии. Одним прыжком он был около окна и резко задернул штору.

— Довольно глупостей, Билли! Ты сам не знаешь, мальчик, какой опасности ты подвергался. Не делай глупостей, ты мне сейчас нужен. Ну-с, Ватсон, очень рад вас видеть на нашей старой квартире. Вы приходите в критическую минуту.

— Тем лучше.

— Можешь итти, Билли. Этот мальчик настоящая загадка, Ватсон. Я очень рад, что вытащил его сейчас из опасности.

— Какой опасности?

— Возможности скоростной смерти. Сегодня кое-что должно случиться, Ватсон. Со мною хотят сыграть скверную штуку.

А именно?

— Меня хотят убить, Ватсон.

— Не шутите, Холмс!

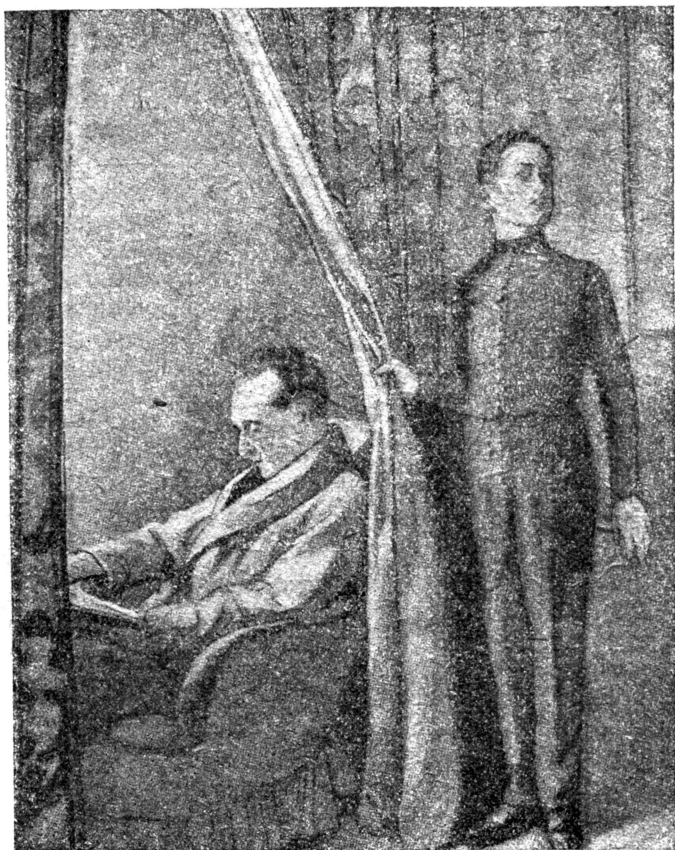
— Хорошие шутки!.. Но об этом потом. Садитесь-ка пока. Хотите виски? Сифон с содовой и сигары на старом месте. Вот так. Сядем, как сидели когда-то вместе. Вы еще не забыли вкус моего свирелого табака? Он заменял мне пищу все эти дни.

— Но почему вы не ели?

— Знаете, когда голодаешь, начинаешь острее мыслить. Как доктор,

Ватсон, вы должны знать, что чрезмерно питая тело, мы создаем приливы крови, а они дурно влияют на мозг. Сейчас мне нужен только мозг, Ватсон, а тело, это так, необходимый футляр. И ясно, что я забочусь только о мозге.

— Но какая опасность, Холмс?



... Спину к нему сидел двойник Холмса...

— Ах, да, я и забыл, что в случае, если что-нибудь со мною случится, вы должны иметь для своих рассказов имя и адрес моего убийцы. Передайте его Скотланд-ярду, засвидетельствовав этим господам мое почтение. Это имя—граф Негретто Сильвиус... Записывайте, Ватсон, не ленитесь... Адрес 136 Мурсайд Гарден. № 3. Записали?

Ватсон не на шутку испугался. Из слов Холмса он почувствовал, что—его другу предстоит какой-то большой

риск и что Холмс шуткой старался прикрыть серьезную опасность.

— Рассчитывайте на меня вполне, Холмс. Я совершенно свободен,— день, другой.

— Нет, нет, Ватсон, у вас есть свои дела и из-за моих частных дел ваши большие не должны лишаться своего врача хотя бы на один час.

— Пустяки, Холмс. Но почему же вы не арестуете вашего врага?

— Я могу его арестовать, конечно, и это очень его, повидимому, беспокоит.

— Так почему вы его не арестуете?

— Потому что я не знаю, где бриллиант.

— Ах да, Билли говорил мне; это тот самый большой бриллиант из короны?

— Да, большой, желтый камень Мазарини. Я расставил сети и поймал нужную мне рыбку. Но, увы, не камень. А зачем мне рыбка без камня? Рыба, как таковая, мне не нужна. Мое дело найти камень.

— И этот граф Сильвиус и есть ваша рыбка.

— Да, и притом самая главная,— акула. Он инициатор всего дела. Вторая рыба это Сам Мертон, боксер, недурный, в общем, малый, но граф его развратил. Сам—мелкая рыбешка. Это простодушный пескарь, правда, обладающий силой слона и воловьей шеей. Но и эта мелкая рыбешка тоже запуталась в моих сетях.

— А где этот граф Сильвиус?

— Я преследовал его по пятам все утро, да и вы видели меня, Ватсон, в образе старой лэди. Я очень доволен сегодняшним утром. Граф даже поднял мне зонтик, когда я уронил его.—«Вы обронили зонтик, мадам»—сказал он. Он говорит с мягким итальянским акцентом и манеры у него превосходные... А между тем это очень опасный субъект.

— Так что может разыгаться трагедия?

— Вполне возможно. Я следил за ним до лавки старого Штраубензее в Минори. Надо вам сказать, что Штраубензее бесподобно делает маленькие

духовые ружья и, если я что-нибудь вообще смыслю, то мой приятель-граф в настоящее время дежурит у окна напротив с одним из милых инструментов Штраубензее в руках.

Вы видели моего манекена? Билли вам, наверно, показывал его? Так я уверен, что в один прекрасный момент маленькая пуля испортит его прекрасно-вылепленную голову. В чем дело, Билли?

Мальчик входил в комнату, неся на подносе визитную карточку. Холмс взглянул на нее и улыбнулся.

— А вот и сам граф изволил пожаловать. Я его давно ждал. Темпераментный субъект, Ватсон, настоящий комок нервов. Может быть, вы слышали о нем? Прекрасный стрелок, неоднократно брал призы на больших состязаниях. И если я попаду в число его трофеев, это будет недурной финал его спортивной карьеры. Во всяком случае я рад, что он почуял во мне врага.

— Пошлите за полицией.

— Может быть, и придется, но пока еще рано.

Посмотрите-ка в окно, Ватсон, только осторожно, не ждет-ли его кто-нибудь на улице?

Ватсон слегка отогнул штору.

— Да, у двери стоит какой-то человек.

— Это Сам Мертон, верный, но не умный Сам. Где этот джентльмен, Билли?

— В приемной, сэр,

— Пригласи его сюда, когда я позвоню.

— Слушаюсь, сэр.

— Если меня не будет здесь, оставь его одного.

— Слушаюсь, сэр.

Когда за Билли затворилась дверь, Ватсон бросился к другу.

— Слушайте, Холмс,—воскликнул он,—что вы делаете? Этот отчаянный человек не задумается пристрелить вас. Может быть, он за этим и пришел.

— Очень может быть.

— Я останусь с вами.

— Вы мне мешаете.

— Ему, а не вам!

— Нет, мне, дорогой друг, именно мне.

— Я не могу оставить вас, как хотите.

— Нет, Ватсон, так нужно. Идите и не портите мне игры. Я хочу довести ее до конца. Этот человек пришел, думая, что его визит поможет ему, но из него извлеку выгоду я.

Холмс написал пару строчек на клочке бумаги.

— Возьмите кэб, поезжайте в Скотланд-ярд и отдайте эту записку м-ру Югхол из уголовного отделения. Приезжайте вместе с полицией арестовать моего графа.

— Будет исполнено.

— Но не торопитесь. До вашего возвращения я должен успеть узнать, куда они припрятали камень.

Он надавил кнопку электрического звонка.

— Я думаю, вам лучше пройти через спальню и выйти вторым ходом. Я пойду с вами. Мне хочется посмотреть, что будет делать моя рыба в гостиной без меня. Это полезный прием, Ватсон.

Билли ввел графа в пустую гостиную.

Знаменитый спортсмен, стрелок и космополит был высокий смуглый мужчина с огромными черными усами, оттеняющими хищный рот с тонкими губами; нос графа был крючкова-тый, большой, как у хищной птицы. Он был одет изящно, но общий выдержанный стиль несколько портили кольца, целые грозди которых отягощали его крепкие пальцы.

Как только за Билли закрылась дверь он поспешно огляделся кругом, быстрым, острым взором человека, который боится ловушки. И увидев затылок фигуры, спокойно сидевшей в кресле перед окном, он вздрогнул. Злой огонек сверкнул в его глазах. Медленно он сделал два шага по направлению к сидящему и вдруг, подняв свою палку с тяжелым набалдашником, бросился на фигуру.

Еще секунда и удар был-бы нанесен, но в это время холодный насмешливый голос раздался с порога спальни.

— Не разбейте моего манекена, граф, он восковой и очень хрупкий.

Граф остановился. На мгновение он поднял вновь свою палку, точно желая броситься на живого Холмса, но пристальный холодно-насмешливый взгляд Холмса таил в себе какую-то силу, которая заставила его опустить руку.

— Славная штука!—сказал Холмс, подходя к манекену,—ее делал Тавернье, французский скульптор. Он такой же специалист по восковым фигурам, как ваш друг Штраубензее по духовым ружьям.

— Духовые ружья?... Что вы хотите этим сказать?!

— Положите шляпу и палку, сэр. Так, благодарю вас. Садитесь, пожалуйста. Может-быть, вы так же положите на стол и ваш револьвер? Нет? Если вы предпочитаете сидеть на нем—как вам угодно. Я только думал, что это довольно беспокойно. Ваш визит очень кстати; я могу вам уделить некоторое время и давно уже ждал вас к себе.

— Я тоже хотел сказать вам несколько слов, м-р Холмс. За этим я и пришел. Я не буду отрицать, что хотел убить вас несколько минут тому назад.

Холмс перекинул ногу на ногу.

— Да неужели? А я, представьте, и не догадывался об этом. Но, однако, чем я привлек ваше благосклонное внимание?

— Вы стали на моем пути и мешаете мне. Вы пустили своих ищек по моим следам.

— Моих ищек! Уверю вас, что у меня их нет.

— Чепуха! я же видел их. Вот что, Холмс, в такую игру должны играть только двое.

— Это пустяк, конечно, граф, но вы должны быть справедливы ко мне. С моими старыми методами розыска я предпочитаю самому изучать всю галерею негодяев и уверю вас, что вы ошибаетесь на счет моих помощников. У меня их нет.

Граф Сильвиус улыбнулся.

— Я вижу не хуже вас, Холмс. Вчера за мной по пятам ходил какой-

то пожилой господин в спортивном костюме, сегодня—старуха. Ну, и помощники-же у вас!

— Благодарю вас, сэр, вы мне льстите. Вчера вечером баронклялся, что если в моем лице выиграл за-

— ...не увидел бы солнечного света? Я совершенно уверен в этом. Ах, мы никогда не знаем, что случится завтра. Таков печальный удел человека...

Граф нахмурился.



— Не разбейте мозги марионетки, граф, он восковой и очень хрупкий.

кон, то много потерял театр. Да, правду сказать, я недурно гримируюсь...

— Так это были вы... сами?!

Холмс пожал плечами.

— Вон там валяется зонтик, который вы так любезно подняли и вручили мне сегодня в Минори.

— Если бы я знал, вы-бы никогда...

— Итак, это вы преследовали меня. Почему?

— Ага, наконец-то! Вы охотились за львами в Алжире, граф?

— Ну?

— А почему?

— Почему? Спорт, переживания, опасность...

— И чтобы избавиться страну от хищников?

— Пожалуй.

— По этой же причине и я следил за вами.

Граф вскочил и рука его невольно потянулась к заднему карману.

— Сидите смирно, граф. Вот так. Но была еще и другая причина: желтый бриллиант Мазарини.

Граф презрительно улыбнулся.

— В самом деле?

— Вы отлично это знаете, граф. И пришли вы сюда затем, чтобы узнать, что именно я знаю о вас, как далеко зашли мои розыски и узнали ли я что-нибудь существенное. Да, я знаю

все, кроме одной вещи, и вы мне ее скажете.

— Что именно?

— Где теперь находится бриллиант.

— Ах, вы хотите узнать только это? Не много. Но кой черт! Подумайте, могу ли я вам сказать?

— Можете и скажете.

— Да неужели?—саркастически заметил граф.

— Вы можете иронизировать сколько вам угодно, граф,—сказал Холмс и в его серых глазах блеснула скрытая угроза,—я вижу вас насквозь, я знаю каждую извилину вашего мозга. Вы меня не обманете.

— Тогда вы должны знать, где бриллиант.

Холмс усмехнулся.

— Вот что, граф,—если вы будете благоразумны, мы можем с вами притти к какому-нибудь соглашению. А если нет—тем хуже для вас.

— Ну-с?—и граф со скучающим видом поднял глаза к потолку.

Холмс задумчиво смотрел на него, как хороший игрок в шахматы мысленно оценивает последствия рискованного, но важного хода. Потом он взял со стола записную книжку.

— Вы знаете, что в этой книжке?—спросил он.

— Нет.

— Вы.

— Я?

— Да, вы. Тут записаны все этапы вашей отчаянной жизни большого авантюриста.

— Чорт возьми, Холмс!—Есть предел и моему терпению!

— Все это здесь, граф. Все! И несколько новых соображений о странной смерти старой мисс Гарольд, оставившей вам усадьбу Блаймер, которую вы так скоро проиграли в карты...

— Вы бредите!

— И полная биография мисс Минни Уоррендер.

— Вы ничего не сможете сделать...

— И еще кое-что, граф. Например, ограбление экспресса в Ривьеру 13 февраля 1902 г. Потом поддельный чек, оплаченный «Лионским Кредитом» в том же году.

— Это не совсем правильно.

— Зато неоспоримы другие ваши проделки в настоящее время, граф; вы принялись за картежную игру. И пока другие ждут, когда к ним придет талия, вы осторожно, но наверняка помогаете судьбе.

— Какое это имеет отношение к бриллианту?

— Тише, граф! Будьте спокойны, как я. Позвольте мне кончить. Итак, вот материал против вас. Но у меня есть и более веские улики в деле с бриллиантом.

— Какие?

— Я разыскал извозчиков: один привез вас в Уайтгол *), другой без вас оттуда. Я нашел чиновника, который видел вас около шкапа с короной. Я нашел Икей Сандерса, который отказался взломать для вас шкаф. Икей сознался. Игра кончена.

Вены на лбу графа налились. Он весь побагровел. Он хотел что-то сказать, но не мог.

— Вот мои улики,—продолжал Холмс,—я честно выложил все вам. Мне недостает лишь одного звена. Это—самый королевский бриллиант. Я не знаю, где он.

— И никогда не узнаете.

— Нет? Ну, будьте благоразумны, граф. Взвесьте ваши шансы. Вас приговорят к тюремному заключению лет на двадцать. И Сама Мертон тоже. Разве вы сможете воспользоваться вашим бриллиантом?

Конечно нет. Но если вы отдадите его, я гарантирую вам свободу. Нам не нужны ни вы, ни Сам, нам нужен только камень. Отдайте его и мы больше никогда не увидимся, если, конечно, вы опять не затеете что-нибудь рискованное. Но пока будем говорить только о камне.

— А если я отвергну ваше предложение?

— Тогда, увы, придется взять вас, а не камень.

На звонок Холмса явился Билли.

— Я думаю, граф, что вы лучше обсудите положение, если к вам присоединится и второй участник дела, уважаемый м-р Сам. Надо подумать и о нем не правда ли? Билли, за дверью ты найдешь высокого, уродливого джентельмена. Позови его сюда.

— А если он не захочет войти?

— Не применяй силы, Билли, и не

*) Королевский дворец.

будь груб с ним. Ты мальчик, а он кулачный боец. Скажи ему, что граф Сильвиус просит его пожаловать!

— Что вы там затеваете?—спросил граф, когда Билли вышел.

— Я говорил д-ру Ватсону, что в моих сетях запутались акула и

Бросим мрачные мысли. Будем жить и радоваться. Только, друг мой, не вытаскивайте ваш револьвер. Мой стреляет на десять секунд раньше. Да, если-бы я даже и дал вам выстрелить, вы не посмели-бы. Неприятная шумная вещь—револьвер. Гораздо лучше духовое ружье. Ага! Я

слышу легкую воздушную походную вашего очаровательного партнера. Добрый день, м-р Мертон. Немного сыро на улице, не правда-ли?

Боксер, коренастый широкоплечий детина с низким тупым лбом, стоял в дверях, не понимая ничего. Развязные манеры Холмса поразили его. Он повернулся к графу.

— Что это за игра, граф? Что ему от меня надо? Что у вас тут? — хрипло проговорил он.

Граф пожал плечами.

— Все кончено, м-р Мертон, ответил Холмс.

— Что он шутит, что-ли?—сказал боксер графу.—Пусть он зарубит себе на носу, что я шуток не люблю.

— О, нет, — ответил Холмс,—могу ручаться, что сегодня вечером вы поймете, что это не шутки. Ну, к делу. Граф Сильвиус, я человек занятый и мне некогда тратить время попусту. Я

иду в спальню. Пожалуйста, без меня располагайтесь как дома. И в мое отсутствие расскажите вашему другу, в каком положении дела. А я попробую пока сыграть на скрипке «Баркароллу» Гофмана. Через пять минут я приду за ответом. Вы поняли, что я хочу? Выбирайте, кого нам взять: вас самих—или бриллиант.

Холмс взял скрипку и исчез за дверью. Через несколько секунд из спальни донеслись первые звуковые ноты «Баркароллы».



Боксер—коренастый широкоплечий детина с широким тупым лбом...

пескарь. Теперь я собираю сети и обе рыбки встретятся лицом к лицу.

Граф поднялся; одна рука у него была закинута за спину. Холмс тоже держал руку в кармане халата.

— Вы не умрете спокойно в постели Холмс.

— Я тоже так думаю. Но разве это так важно? Да и вы, граф, мне кажется, умрете не в горизонтальном, а в вертикальном положении. Но стоит-ли говорить о мрачном будущем! Чем виселица хуже пули?

— Что это такое?—боязливо спросил Мертон.—Он знает что-то о камне?

— Чорт его возьми, он знает все!

— Вот так штука!—боксер побледнел.

— Нас выдал Икей Сандерс.

— Он? Он посмел? Ну, пусть простится с родными...

— А, не в этом дело! Надо скорее придумать, как быть.

— Постойте-ка... Он не подслушивает?

— Он играет и ничего не может слышать.

— Так. А нет-ли кого за занавеской?

Увидев фигуру, он в бешенстве замахнулся на нее кулаком.

— Тише!—закричал граф.—Ведь это чудело!

— Да ну? Вот так штука. Вылитый портрет. А все-таки эти занавесы...

— А, чорт их побери эти занавесы! Мы теряем время. Он поймает нас, как кроликов.

— И очень просто.

— Но он обещает нам свободу, если мы отдадим камень.

— Что? Отдать камень? Сто тысяч фунтов?

— Надо выбирать: либо камень, либо тюрьма.

Мертон сжал кулаки.

— Вот что! Он там один. Я пойду и...

— Он вооружен и готов ко всему. Да если мы его и убьем, все равно нас поймут: он наверно предупредил полицию.. Так что... Что там? Ты слышал?

Со стороны окна донесся какой-то глухой звук. Оба бросились к окну. Все было тихо. Ничего подозрительного. Кроме молчаливого манекена в кресле и двух преступников в комнате не было никого.

— Это с улицы,—сказал Сам,—ну-ка, начальник, соображайте.. Если драться—это я могу, а соображать—уже дело ваше.

— Я обманывал и более хитрых людей, чем он,—сказал граф.—Камень здесь, у меня, в секретном

кармане. Сегодня же я могу отправить его в Голландию; в Амстердаме его расколют на четыре части. Он ведь не знает ничего о Ван-Сиддере.

— Я думал, что Ван-Сиддер давно уехал.

— Он уехал. Но теперь он опять здесь. Один из нас должен слетать на Лим-стрит и передать ему камень.

— А готова фальшивая копия?

— Это не важно. Нельзя терять ни минуты... Постой... и он подозрительно посмотрел на окно.. Все было спокойно. Подозрительный звук, действительно, донесся с улицы.

— Что касается Холмса,—продолжал он,—его можно легко проесть за нос. Он сказал, что не арестует нас, если мы отдадим камень. Ну, мы ему обещаем отдать. Поведем его по ложному следу, пока камень не будет в безопасности в Голландии, а там и сами удерем.

— Это недурно!

— Так, значит, ты отправишься к голландцу и передашь ему бриллиант. А я, пока, повожу за нос знаменитого сыщика. Я ему скажу, что камень находится в Ливерпуле... А, чорт побери эту дурацкую музыку,—она действует мне на нервы!.. Ну, так пока он удостоверится, что камня в Ливерпуле нет, бриллиант будет в амстердамской гранильне, а мы в открытом море... Ну-ка, отойди, на всякий случай, от замочной скрежины. Вот камень.

— Удивляюсь, как вы решаетесь держать его при себе...

— Только у меня камень в полной безопасности. Если мы сумели взять его из Уайтголла, то найдутся люди, которые сумеют унести его и из моего дома.

— А ну-ка дайте мне посмотреть на него.

Граф Сильвиус вынул блестящий камень и повертел его в руках, делая вид, что не замечает грязной ладони, протянувшейся за камнем.

— Вы что же думаете, что я отниму его у вас? Вот, что, мистер, мне немного надоели все ваши глупые предосторожности...

— Ну, ладно, ладно, не злись, Сам. Нам нельзя ссориться, сейчас по крайней мере. Подойдем к окну: при свете лучше рассмотрим наше—сокровище. Ну, на, держи.

— Благодарю вас.

Но в тот момент, когда граф бросил камень боксеру, восковая фигура вскочила с кресла и на лету схватила драгоценность. Зажав камень в левой руке, Холмс,—это был он,—вынул револьвер и направил его на графа.

Преступники отшатнулись в ужасе. И прежде, чем они опомнились, Холмс нажал кнопку электрического звонка.

— Без глупостей, джентльмены, без глупостей, прошу вас. Не ломайте мебель. Теперь для вас ясно, что ваше положение безнадежно. Полиция ждет внизу.

— Но каким чортом!!—вскричал граф.

— Я понимаю ваше удивление. Но вы не подозревали, что вторая дверь из моей спальни находится как раз за занавеской. Я боялся, что вы услышите, как я снимал манекена, но мне повезло. И это обстоятельство дало мне возможность выслушать все ваши милые планы.

Граф пожал плечами.

— Вы выиграли, Холмс. А все-таки я думаю, что вы сродни дьяволу.

— Ну, за чем же так сильно!—улыбнулся Холмс.

Сам Мертон еще плохо понимал, что произошло и, только заслышав тяжелые шаги на лестнице, он сжал кулаки.

— А, проклятый,—закричал он,—ты таки провел нас. Но эта идиотская скрипка... я до сих пор слышу ее.

— Ах, да,—ответил Холмс,—я и забыл. Ну, и пускай себе играет. Эти новейшие граммофоны чудесное изобретение.

Вошла полиция, звякнули наручники и преступники были посажены в закрытый каб.

Ватсон остался с Холмсом, проводя его с новыми лаврами, при-

бавившимися к его венку. Но их беседа была вторично прервана неугомонным Билли, который опять принес на подносе визитную карточку.

— Лорд Кэнтльмир, сэр.

— Проси его, Билли. Знаете, Ватсон, его светлость очень интересный, субъект, очень честный и просвещенный, но несколько старомодного типа. И все-таки это не причина, чтобы не пошутить с ним немного.

Дверь отворилась и вошел лорд. Его высокая, сухая фигура, с резкими чертами лица и старомодными бакенбардами гармонировала с его медленными, уверенными движениями и сухим тоном.

«Типичный сановник времен Виктории», подумал Ватсон.

Холмс быстро подошел к нему и с преувеличенной горячностью пожал его сухую руку.

— Как ваше здоровье, лорд Кэнтльмир? Неправда-ли, на улице холодно. Но у нас довольно тепло. Разрешите помочь вам снять пальто?

— Нет, благодарю вас, сэр.

— Ну, прошу вас, снимите пальто. Мой друг, доктор Ватсон, подтвердит вам, что резкие перемены температуры вредно отражаются на здоровье.

— Благодарю вас, сэр, мне хорошо и так,—ответил лорд раздраженно,—и притом мне некогда, я только на минутку, чтобы узнать, как подвигается дело.

— Ах, вы знаете это так трудно, так трудно.

— Гм, я всегда боялся, что вы придете к этому заключению.

В словах старого придворного звучало что-то странное.

— Силы каждого человека ограничены м-р Холмс, и даже самые сильные умы наталкиваются порою на неразрешимые загадки.

— Да, сэр,—развел руками Холмс,—задача очень трудная.

— Без сомнения.

— В особенности один пункт. Может, вы сумеете помочь мне.

— Если это может принести вам пользу, пожалуйста, спрашивайте.

— Без сомнения, лорд Кэнтильмир, вы уже придумали наказание для преступника?

— Когда вы его поймаете...

— Разумеется. Но вот, что меня интересует. Как вы думаете наказать покупателя или, вообще, того, у кого окажется бриллиант?

— Не находите-ли вы это несколько преждевременным?

— Но, на всякий случай, ваш ответ должен быть мне известен. Что, по вашему, является доказательством вины?

— Человек, у которого вы найдете камень, и есть преступник.

— И вы его арестуете?

— Конечно.

— Холмс улыбнулся.

— В таком случае, дорогой сэр, на мне лежит тяжелая обязанность объявить вам, что вы арестованы.

Лорд Кэнтильмир вспыхнул. Гневные огоньки заблестали в его бесцветных зрачках.

— Вы слишком много себе позволяете, м-р Холмс! После пятидесяти лет службы на высоких государственных постах, я имею право требовать уважения к себе! Как вы смели подумывать только!.. Я занятой человек, сэр, меня ждут неотложные государственные дела и у меня нет времени выслушивать ваши дурацкие глупости! Скажу вам откровенно, сэр, что я никогда не верил в ваши так сильно разрекламированные способности и всегда держался того мнения, что с этим делом гораздо успешнее справилась-бы полиция. Ваша последняя выходка только подтвердила мое мнение. Имею честь, сэр, пожелать вам доброго вечера.

И разъяренный сановник двинулся к двери. Но Холмс оказался быстрее и в один прыжок загородил ему дорогу.

— Одну минуту, сэр, — сказал он, — итак, чтобы покончить с этим делом... Признаете-ли вы, что желтый бриллиант Мазарини находится у преступника?

— Это несносно, сэр! — вскричал лорд. — Пустите меня!

— Будьте добры опустить правую руку в карман пальто.

— Что это значит, сэр?!

— Ну-ну, делайте, что вам говорят! Через секунду д-р Ватсон увидел, что старый лорд растерянно мигает глазами, а желтый бриллиант лежит на его дрожащей ладони.

— Что... что... Что это значит, м-р Холмс?

— Сушие пустяки, лорд. Мой старый друг подтвердит вам, что на меня порою находит немного неуместное желание пошутить. Точно так же я стараюсь не упустить возможности создать такое яркое драматическое положение. И я позволил себе большую вольность, за которую теперь приношу свои глубочайшие извинения, — и положил камень к вам в карман в самом начале нашего разговора.

Лорд посмотрел на него и улыбнулся.

— Я... я поражен, сэр... Да, да... это он, настоящий камень Мазарини, бриллиант из короны короля... Мы ваши неоплатные должники, м-р Холмс. Правда, ваши шутки не всегда способны развеселить людей и ваш способ заканчивать дело несколько... э-э... чересчур оригинален, но все же должен сказать, что я сильно ошибался на ваш счет и не дооценил ваших поразительных способностей. Но чем мы...

— Дело еще не совсем кончено, лорд, но мелкие детали выяснятся на суде. Я надеюсь, лорд, что ваш рассказ об окончании приключения с камнем Мазарини вызовет некоторое оживление в кругу ваших высокопоставленных друзей. Билли! проводи его сиятельство и скажи мисис Гудсон, что я буду ей очень благодарен, если она немедленно приготовит обед на две персоны.

УСПЕХ ПЬЕСЫ ХАРЛЕЯ



Рассказ С. Герзона.

Всякому известно, что мистер Самуэльс антрепренер самого большого театра в Нью-Йорке, а не филантроп. Известно и то, что он начал свою карьеру с незавидной должности поваренка в кафе-шантане на крыше одного из самых высоких домов Нью-Орлеана, а затем был конферансье ночного кабаре в самом низком подвале, какой только мог найти антрепренер, полу-китаец, полу-немец, во всем Сан-Франциско. Мистер Самуэльс полагает, что у каждого американца есть голова, и потому филантропия—самый худший из способов, которым можно заставить забыть ближнего, что он снабжен головой.

— Значит, больше ни одного раза?

— Совершенно верно, мисс, больше ни одного раза. Я антрепренер, а не филантроп,—раздраженно стелтил мистер Самуэльс, грузно поворачиваясь в кресле, которое по своим размерам могло бы дать приют целой семье.

Синие глаза Изы Ирвинг наполнились слезами. Опять ждать! Как это тяжело, когда любишь так сильно, и когда едва пошел 23-й год.

Мисс Ирвинг взглянула на своего жениха, печально поникшего в кресле у окна. Больше надеяться не на что! Пьеса, на которую возлагалось столько чаяний, которая должна была принести и славу и богатство, а с ними и возможность счастья—пьеса Вильяма Харлей про-

валилась на первом же представлении: $\frac{3}{4}$ громадного зрительного зала пустовали... Даже игра мисс Ирвинг не могла спасти дела! О, нет! Пьеса здесь не при чем: даже мистер Самуэльс признал, что она талантлива, но публика! Ей нужны не прекрасные образы, не истинное искусство, а громкие имена. Мистер Харлей так молод и—кроме того—он так смел!

Разе мало поводов, чтобы утренние газеты зло осмеяли «зеленого автора незрелых пьес», а заодно и «заплывшего жиром антрепренера, который—в угоду бессмысленным потугам к новшеству—забыл истинное искусство».

Харлей поднялся; его умнее и не менее красивое лицо было печально, но твердо сжатые губы выражали прежнее упорство и негнущую волю. Он протянул руку мистеру Самуэльсу:

— Вы правы, пьеса не может нравиться. Благодарю вас, за первую и... последнюю постановку. Снимите пьесу с репертуара, а мы Иза,—Вильям грустно улыбнулся—будем снова ждать и работать.

Иза взяла под руку жениха: они были положительно прекрасны,—высокие, стройные, молодые. Мисс Ирвинг вздохнула: что-ж, надо работать!

Самуэльс тяжело сошел, как паровоз западно-восточного экспресса. Ему было гадко жаль эту пару «молодых слов», как он их мысленно окрестил. Но как помочь? Да, на-

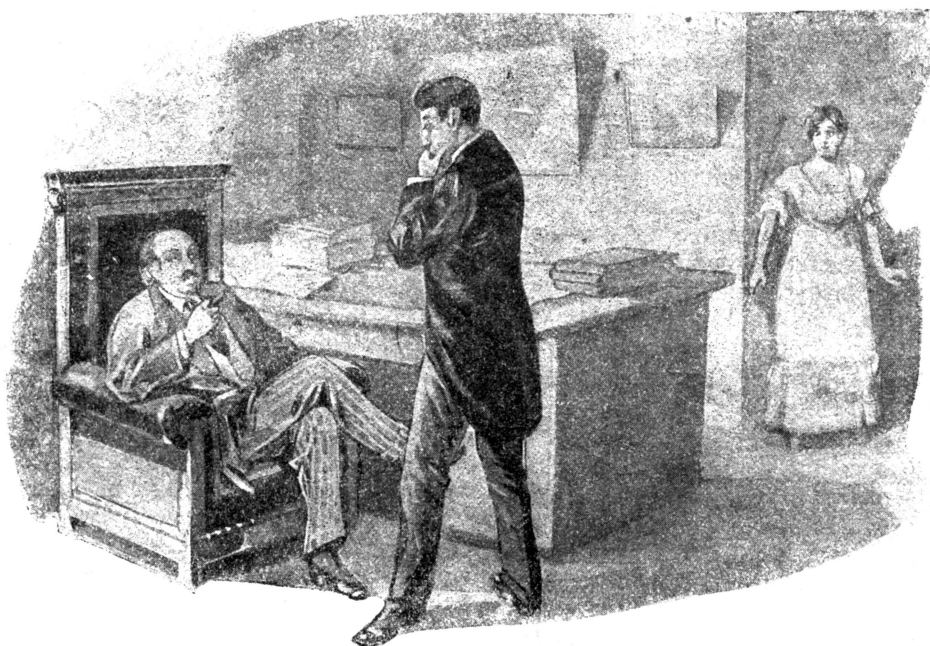
конец, он антрепренер большого летнего театра, а не филантроп.

Молодые люди направились к дядям. В душе Самуэля что-то тяжело вертелось. В памяти быстро-быстро промелькнула и его собственная молодость, и первые неудачи, и его невеста, ныне супруга, успевшая сделаться председателем семнадцати самых удивительных обществ, но тогда бывшая стройной и веселой артисткой не-

— Вы очень хотите жениться?

Харлей и Иза переглянулись. Самуэлю не надо другого ответа, глаза «овец» сказали слишком много.

Самуэль задумался. Что делать? Вильямс и Иза сгели, не шевелясь. Мысли в громадной голове Самуэля вертелись, как мельничные жернова. Вдруг лицо его прояснилось, затуманилось и снова прояснилось, словно он нашел решение трудной задачи.



— Вы правы: пьеса не может нравиться. Благодарю вас, за первую и... последнюю постановку.

большого театра в Чикаго, и наконец—такие же, как у мисс Ирвинг, синие глаза его девочки, его любимой Эдит.

— Постойте, уйти всегда успеете! — неожиданно завопил Самуэль; и без того красный затылок его стал почти багровым

— Сядьте!

Молодые люди послушно вернулись и сели.

— Овцы.

Мысленно решил мистер Самуэль и совершенно непоследовательно спросил:

Он схватил телефонную трубку

— Алло! 5-17-42. Да, да, хорошо. Типография? Говорит Самуэль. Немедленно отпечатайте 1½ миллиона плакатов и афиш. Каких? Пишите «Полные сборы. Коллосальный, небывалый успех. Новая пьеса Вильяма Харлея в театре Джона Самуэля. Участвуют лучшие силы театра во главе с мисс Ирвинг. Только шесть дней. Автор навсегда покидает Америку и уезжает в Европу, где пьеса выдержала бесчисленное множество представлений. Спешите — только еще шесть раз. Цены местам возвышенные. Вследствие исключи-

тельного наплыва публики билеты в городские кассы не поступают и продаются только в театре. Для удобства публики открыты все кассы. Написали? Так. Завтра сдадите пятьсот тысяч, затем постепенно в течение трех дней остальное. Расплата в субботу, в 12 часов вечера, Касса театра. Ол райт!

— Алло! 10-24-15. Комиссионное бюро? Говорит Самуэльс. Завтра утром получите в типографии Уайтхеда 500 тысяч плакатов, расклейте по всему городу. Возьмите тысячу сэндвичей и пустите их по всем улицам, площадям, скверам и бульварам, каждый день до субботы увеличивайте число сэндвичей вдвое. Дадите объявление во всех газетах, текст в типографии. Пришлите мне завтра утром двести посыльных, каждый день удваивайте число — посылайте ежедневно до субботы. Вышлите к театру, каждый день утраивая число, завтра, начиная с пятисот, всяких средств передвижения — легковых автомобилей, кэбоз, фиакров и всего прочего.

Подробные инструкции получите сегодня вечером от моего агента. О чем? О небывалом успехе пьесы мистера Харлей. Кто съума сошел? Я думаю, что вы. Плата наличными в субботу, в двенадцать вечера. Гудбай!

— Алло! 3-77-68, биржа труда? С завтрашнего дня и в продолжение пяти дней высылайте к театру Самуэльса безработных, завтра полторы тысячи, ежедневно в два раза больше. Возвращение по домам на мой счет, плата поденная, работы никакой. Сборный пункт у кассы театра, завтра в 4 часа дня, каждый следующий день на три часа раньше. Да, да, говорит Самуэльс, очень рад. Подробные инструкции сегодня вечером, пришлите представителя. Благодарю вас.

Молодые люди переглядывались с все возрастающим изумлением. Неужели убытки, понесенные мистером Самуэльсом из-за пьесы Харлей, повлияли на него так сильно? Однако, он хочет безумствовать дальше.

Самуэльс бешено звонил; наконец, в комнату влетел запыхавшийся старший режиссер.

— Передайте всем первым и вторым артистам, что они в течение пяти дней свободны: спектаклей не будет. Артисты за мой счет могут ехать на все четыре стороны с одним условием—молчать, никто не смеет проронить ни слова о том, что в театре нет спектаклей. Кто проговорится—вылетит мигом. В субботу в 7 часов—все на месте. Пусть повторяют пьесу мистера Харлей. Ко мне пришлите всех статистов и явитесь сами. Велите заведующему костюмерной набрать в пятерс больший штат закройщиков и влэсето больший—портных. Наймите пятьдесят гримеров. Поняли? Отдадите распоряжение и явитесь ко мне. Можете идти, вас ожидает прибавка, мистер Паркер.

Режиссер, знавший Самуэльса больше двадцати лет и сам бывший когда-то рассказчиком в матросском кабачке в Филадельфии, привык ничему не удивляться. Он повернулся и вышел, чтобы исполнить странное приказание патрона, но все же на этот раз его лицо выражало нечто напоминавшее удивление. Потерять теперь—в самый разгар сезона—пять спектаклей и еще отправить всю труппу на свой счет куда угодно каждому артисту—это или безумие или преступление. Мистер Паркер мысленно подсчитал сумму убытков и нашел, что ему для того, чтобы заработать такую цифру, нужно прослужить одиннадцать лет, если каждый год жалование будет повышаться на 5%. Впрочем, мистер Самуэльс обещал прибавку!

Самуэльс поднялся.

— Господа, позвольте пожелать, вам всего доброго. На пять дней вы свободны и сегодня же вечером уедете. Что? Куда хотите. Ваша обязанность, во-первых, молчать, во-вторых, сохранять инкогнито, а в третьих, поднять ваши отвратительно повисшие носы. Вот аванс. В субботу, в 6 часов вы будете у меня на квартире. Так? Ведь у нас

сегодня воскресенье? Вы свободны, гуд аертернон...

Иза и Вильям решительно ничего не понимали, да и вряд ли что-нибудь можно было понять в горячечном бреде господина антрепренера и директора самого большого летнего театра Нью-Йорка.

С утра в понедельник весь город был разукрашен трехметровыми плакатами, по всем улицам разбежались сэндвичи в своих красных, зеленых и желтых костюмах, с огромными штандартами на груди и за спиной: «Полные сборы. Колоссальный успех. Новая пьеса Вил. Харлей в театре Дж. Самуэlsa и т. д.»

Публика иронически посмеивалась. Рецензенты достаточно сказали об этой пьесе, которую еще имеют смелость рекламировать. Впрочем, на рецензентов не угодишь... Надо будет как-нибудь самому зайти посмотреть.

К семи часам несколько легковых нью-йоркских обывателей потянулось к театру Самуэlsa, но увы! Около театра уже стояла громадная очередь, которая окружала его со всех сторон. Значит, многие все-таки идут на эту пьесу, которую так разругали рецензенты. Стоит стать в очередь, чтобы купить билет и посмотреть самому, в чем дело...

Между тем, к театру подъезжали все новые и новые шикарные авто, кэбы, фиакры, автобусы, переполненные нарядными людьми. На ближайший аэродром спустились несколько аэропланов с публикой из окрестных городов. Все стремились только на сегодняшний спектакль. Касса с бешеной быстротой выдавала билеты, но большинство нью-йоркцев приехало так поздно,—впереди тянулись целые сотни людей! Роскошные дэнди, художники и поэты, седовласые ученые, посыльные и дамы полусвета,—все, казалось, были в этой толпе. Посыльные отказывались брать билеты, так как касса не выдавала больше десяти в одни руки, а у каждого из них уже было втрое больше заказов. Однако, рецензенты ошиблись: театр должен

был быть полным. Впрочем, все сейчас будет видно, уже до кассы остается всего несколько человек, но вдруг окошко неожиданно захлопывается, и появляется короткая и красноречивая надпись: «На сегодня все билеты проданы». Вы испытали это чувство, когда у вас перед носом захлопывают окошечко театральной кассы? Во всяком случае впечатление ничуть не меньшее, чем от завешания какого-нибудь Клондайкского дялюшки, кончины которого вы так терпеливо ждали и который все свое богатство оставляет на благотворительные цели. Но все же—остается только одно: повернуться и разочарованно уйти, чтобы завтра посмотреть эту диковинную пьесу мистера Харлей.

Толпа печально расходилась... Все новые кэбы и моторы подъезжали к театру.

Во вторник нельзя было пройти и двух шагов, чтобы не натолкнуться на вертлявых сэндвичей с плакатами театра Самуэlsa. Не было ни одного афишного киоска, который оставался бы свободным от этих же громадных плакатов. Для нужд публики, желающей попасть на сегодняшний спектакль, на всех площадях были приготовлены автобусы, которые должны были отойти в семь часов вечера. Утренние газеты ядовито отмечали, что-видно—консервативная пресса чересчур поспешила с суждением относительно пьесы м-ра Харлей, т. к. «вчера еще задолго до начала представления все билеты были проданы, что свидетельствует о том исключительном интересе, который проявляет публика, умеющая поистине воспринимать прекрасное,—ко всему новому, смелому и красивому». Скептиков стало вдвое меньше, зато желающих посмотреть пьесу,—вчетверо больше. Повсюду находились люди, которые «собственными глазами» видели, что делалось вчера у театра Самуэlsa. Бывшие на первом представлении подтверждали, что в пьесе «что-то есть». Многие решали пораньше уйти со службы, чтобы занять место

в очереди к кассе. Комиссионные бюро уже с двух часов дня отказывались принимать заказы и на место в очереди и на билеты, т. к. не хватало посыльных. Уже с трех часов около касс театра дежурила такая очередь, что можно было составить целый корпус. Чье-то предложение записывать не имело успеха, потому что даже начало записи отняло несколько часов, к тому же оказалось очень много однофамильцев, и часть публики отказалась записываться, мотивируя это тем, что она стоит в живой очереди с самого утра. Число авто, омнибусов, кэбов, фиакров и т. д. бесконечно росло. Городскому самоуправлению пришлось пустить трамвай из всех парков к театру Самуэльса. Очереди непрерывно росли. Десять касс не успевали выдавать билеты, но уже в шесть часов все окошки закрылись, и на них появилась та же роковая надпись «На сегодня—все билеты проданы». В семь часов на улицах, прилегающих к театру, установилась очередь для имеющих билеты, чтобы обеспечить скорейшее проникновение внутрь театра.

В среду повсюду живо обсуждался успех новой пьесы. Большая часть прессы свидетельствовала, что «новое произведение талантливого м-ра Харлей представляет, несомненно, значительный интерес», все же газеты без исключения подтверждали, что публика настолько схотно смотрит нозинку, что большая часть жаждающих попасть лишена этой возможности».

К вечеру число желающих попасть в театр, казалось, достигло $\frac{1}{3}$ всех живущих в Нью-Йорке, не считая стариков и детей. Дабы сделать организованнее покупку билетов, жители города решили объединиться по группам, с тем, чтобы представитель группы покупал на остальных. Однако, скоро число представителей оказалось столь внушительным, что они одни могли бы наполнить до верха все театры Нью-Йорка. К пяти часам около

театра гудел огромный человеческий муравейник, но-видимо—находились люди, которым решительно нечего было делать, т. к. театр был окружен сплошным кольцом очередей, установившихся еще с полудня. В 4 ч. 27 м. все кассы театра закрылись и сначала традиционный глак-ат, а затем вечерние газеты оповестили все $\frac{2}{3}$ нью-йоркцев, что «на сегодня все билеты проданы»—речь шла, конечно, о театре Дж. Самуэльса.

Начиная с четверга только и было разговоров с новой пьесе м-ра Харлей. «Несомненно, это истинный вклад в нашу художественную литературу; пьеса м-ра Харлей представляется величайшим событием на нашем литературном горизонте», писали газеты. Консерваторы, ставшие объектом самых едких насмешек, что-то смущенно твердили об изменчивости вкусов толпы, признавая впрочем исключительную популярность пьесы м-ра Харлей. Во всех конторах, на бирже, в кафе, в приемных дантистов, в ателье фотографов с неслабым интересом обсуждался вопрос, как попасть к Дж. Самуэльсу. Некоторые наивные люди решили обратиться к самому м-ру Харлей, но когда после долгих поисков был найден его дом, оказалось, что вокруг дежурит тройное кольцо полицейских, которые не подпускали к дому ближе, чем на 9 метров. Пробовали обратиться к Самуэльсу, но около его дома красовался внушительный пожарный в блестящей каске и с бранспойтом в руке. После того, как несколько смельчаков были охвачены холодной водой, охота добывать билет через м-ра Самуэльса пропала окончательно. В виду того, что с двух часов дня биржа совершенно опустела, предприимчивые маклера перенесли свои сделки на улицы, близ театра. Самые крупные кинематографические фирмы не успевали снимать картин движения толпы к театру Самуэльса. С часу дня около театра делалось нечто невообразимое, казалось все существовавшие в Нью-Йорке средства передвижения

были заняты приезжавшей публикой. Городское управление отдало приказ, чтобы $\frac{1}{20}$ всех извозчиков и таксомоторов оставалась в городе для обслуживания врачей, консульского корпуса, пекарен и т. д.,—все остальные, как намагниченные, тянулись к театру Самуэляса. На экстренном совещании, которое устроили желающие попасть в партер, было постановлено устроить предварительную лотерею на место в очереди; однако, желающие попасть на 1-й ярус с этим не согласились; к ним присоединились представители второго яруса и галерки, и между ними и «партерщиками» произошел оживленный спор, кончившийся весьма основательным боксом между представителями совещаний.

Устроенный предприимчивыми людьми сбор в пользу дома престарелых артисток, в правление которого якобы входила мисс Ирвинг, дал такой сбор, что можно было-бы содержать не только престарелых артисток, но и вообще всех старух земного шара в течение по крайней мере 50 лет, даже принимая во внимание дороговизну, возрастающую по геометрической прогрессии.

Около 4 часов закрылась большая часть магазинов из-за совершенного отсутствия покупателей; на Formings square собралась оппозиция пьесе м-ра Харлей, но тогда на Washington square сгруппировались приверженцы, и вследствие того, что на одного противника пьесы приходилось около 600 приверженцев,—первые почли за благо ретироваться. Еще до этого, специальными телеграммами нью-йоркцы были оповещены, что собрана инициативная группа из лиц, издававших пьесу м-ра Харлей, и сегодня в 2 ч. ночи на East Hoaston Str. № 179. состоится первое закрытое заседание клуба «поклонников пьесы м-ра Харлей, видевших означенную пьесу». Все вновь открытые 20 касс выдавали билеты с умопомрачительной быстротой. Каждые 100 человек из стоявших в очереди выбирали пред-

ставителя для контроля над действием касс. Все существующие средства передвижения были заняты приезжающей публикой. Пользуясь случаем, извозчики отказались возить по таксе и пришлось предоставить им свободу действия. Карманные воры в несколько минут получали возможность обеспечить себе безбедную жизнь до глубокой старости. Репортеры уличных происшествий исписывали целые тетради; международное общество Красного Креста командировало к театру своего представителя для выяснения вопроса о необходимости помощи о-ва вследствие громадного количества несчастных случаев.

Толпа около театра с мучительным любопытством следила за окошками касс. В 3 ч. 12 минут все кассы закрылись и появился традиционный белый плакат «На сегодня все билеты проданы». Двенадцать кассиров из сорока в обморочном состоянии были доставлены на автомобилях в квартиру м-ра Самуэляса, как наиболее хорошо охраняемую. К театру были вызваны полицейские части и пожарные команды.

В пятницу утром было созвано экстренное заседание университета и колледжа «Колумбия», на котором единогласно было решено командировать делегацию на ближайший спектакль для того, чтобы иметь суждение о новой пьесе м-ра Харлей. Примеру университета последовали Metropolitan Museum of Art и еще 112 других ученых и художественных обществ и корпораций. На чрезвычайном совещании Консульского Корпуса было постановлено срочно запросить инструкции у соответствующих правительств об отношении к пьесе. Лучшие инженеры города устанавливали в театре радиоприбор, чтобы связать его с другими городами, где публика, не мечтавшая даже о том, чтобы быть зрителем, хотела быть только слушателем. В 12 часов инженеры донесли, что завтра к 1 ч. дня работа будет закончена, при условии перерыва только во время сегодняшнего спектакля. Городские

рестораторы объединились, чтобы организовать кафе-рестораны вблизи театра. К 12-и часам утра был открыт ресторан с пропускной способностью в 50 т. человек в пятнадцать минут. Для различных финансовых и биржевых тузов попасть первым в театр стало соревнованием. Во многих семьях происходили тяжкие драмы из-за невозможности попасть в театр Самуэльса. За один день было расторгнуто 208 браков; по приблизительному подсчету 184 невесты отказали своим женихам. Уголсной хроникой было зарегистрировано 11 убийств и 52 тяжелых ранения, так или иначе связанных с пьесой м-ра Харлей. На углу West-Houston Str., где жил Самуэльс, в промежутке между часом и двумя подобрали 16 самоубийц, воспользовавшихся в своем настойчивом желании умереть самыми разнообразными средствами, вплоть до полета с крыши. Еще раньше, на соединенном заседании всех медицинских школ, видный профессор психиатрии сделал доклад о новой и очень остро протекающей психической болезни, которую он назвал харлеомания. Восемь летних театров и 44 мюзикхолла лопнули из-за отсутствия публики. Комиссионные бюро, несмотря на то, что вели непрерывную запись заказов, принуждены были прекратить работу, т. к. часть посыльных объявила забастовку на почве желания самой попасть в театр, другая — была совершенно перегружена работой. Суффражистки никак не могли выработать общую позицию по отношению к вопросу, а тем временем хорошенькие женщины сорганизовались, чтобы просить у Самуэльса билетов, но скандалы с мужьями и женихами испортили дело. Вест о самоубийцах была встречена с энтузиазмом, и тотчас было решено похоронить их на счет желавших попасть в театр. Каждая подписка дала такие цифры, что можно было-бы похоронить обитателей целого швейцарского кантона. Толпа густыми колоннами валила к театру, гаражи и извозчики биржи совершенно опустели,

все перевозочные средства были заняты обезумевшей публикой. Автомобильные заводы повышали каждый час производительность на 100%, однако, ничто не могло удовлетворить все более безумевшую толпу. Ровно в 1 ч. 30 минут над театром Самуэльса взвился громадный флаг с надписью: «На сегодня все билеты проданы. Открыта предварительная продажа на последнее шестое представление. Цены местам значительно повышены. Вследствие колоссального наплыва публики, касса, чтоб не задерживать очередь, сдачи давать не будет». В ту же минуту тысяча дневных газет отпечатала этот плакат, чем еще больше увеличили число чающих попасть. Во все города Соедин. Штатов были посланы 102 агентствами и разнообразными газетами самые красноречивые срочные телеграммы о пьесе Харлей. Городские самоуправления городов Запада и Востока решили немедленно делегировать представителей на «национальное торжество», новую пьесу м-ра Харлей. Парламентские группы посылали делегатов, чтобы засвидетельствовать «борьбу за идею Вильяму Харлей глубокое почтение, признательность и товарищеский привет». Из Вальпараисо, где якобы когда-то жил в течение 7 дней Харлей, пришла срочная телеграмма, что главная улица города переименована в Харлей Стрит, и письма будут доставляться только по новому адресу. Вечерние и ночные экспрессы приходили переполненными; город усиленно освещался колоссальными прожекторами, чтобы не произошло столкновения бесчисленных летательных машин, паривших над городом. Люди в каком-то диком экстазе неслись к театру Самуэльса. Пятьдесят касс предварительной продажи работали с ошеломляющей быстротой. За место в очереди платили сотни тысяч долларов; были выпущены специальные 2-часовые акции на положение относительно касс. Ночью никто не думал уезжать домой: все с ужасом следили за кассами: вдруг появится ужасный пла-

кат?! Предприимчивые люди устроили тотализатор—кто успеет получить билет, кто нет. Экстренные выпуски ночных газет в блестящих статьях говорили не только о небывалом значении пьесы, но и о связи искусства с экономической жизнью страны, о том необычайном оживлении, которое внесла пьеса м-ра Харлей во все области человеческого существования: «Даже на бирже труда число безработных сократилось до минимума», писали газеты.

В 4 часа утра в театр выехала специальная комиссия инженеров и архитекторов, дабы выяснить, сколько народу может вместить зрительный зал. Цены местам дошли до необычайной высоты. За место в театре платили столько, что можно было купить любую голландскую колонию. В вестюбиле было вывешено объявление, что самоубийц просят для отправления на тот свет выходить за пределы театра, чтобы не мешать остальной публике. Король двигателей внутреннего сгорания, м-р Клейтон отдал треть своего громадного состояния за литературную ложу, но когда он сел в свой огненно-красный авто, его лицо сияло радостью и упоением победы. И когда на всю улицу он крикнул—«к мисс Бреверин!» всякий понял, что маленькая, узенькая, красная бумажка называемая билетом, в некоторых случаях может дать самые разнообразные наслаждения.

Несмотря на принятые полицией меры, толпа судила судом Линча нескольких поддельвателей билетов. Страсти достигали крайней остроты.

В 7 часов утра, в субботу, кассы закрылись: «на сегодня все билеты проданы». Двадцать шесть тысяч счастливых (в то время, как нормально театр был рассчитан только на 8000 человек!) гордо разъезжались по домам, численное число непопавших устраивали шумные митинги, на которых единогласно принимались резолюции о том, чтобы низко просить «нашу гордость, гениального м-ра Харлей остаться еще на несколько дней в Соединенных Штатах».

С утра на бирже царила какая-то вакханалия. Пронырливые маклера продавали билеты на сегодняшний спектакль по совершенно немислимым ценам. Билеты с пометкой театра Самуэля ходили, как чеки, и принимались к уплате в самых крупных сделках.

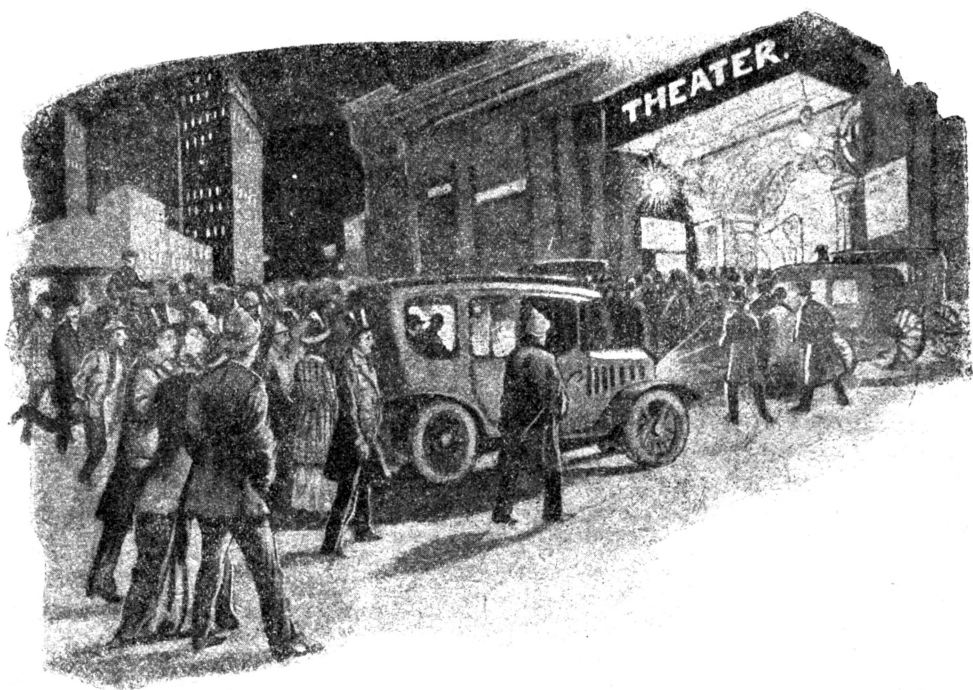
Телефонные провода в квартире м-ра Самуэля, уже давно перерезанные, были соединены снова, но только с шефом полиции, так как Самуэль решительно хотел предотвратить эксцессы. Около дома его дежурила кучка решительно настроенных молодых людей, во что бы то ни стало желавших достать билеты своим дамам. Чтобы предотвратить неприятности и недоразумения, было отдано приказание пожарным окатить ожидавших водою с краской. Это несколько очистило дорогу около дома. Все цветочные магазины уже к 12-ти часам распродали весь товар; из всех ближайших городов приходили поезда, наполненные цветами. Ювелиры продавали уже не только свои изделия, но и все, что имелось ценного у их жен и дочерей. Непродажа цветов или золотых вещей из магазинов, где продажа обычно производится, была объявлена государственным преступлением.

В помещении Публичной библиотеки один из зрителей, бывших на первом представлении пьесы, читал о ней доклад, привлекая несметное количество публики и вызвавший целый взрыв энтузиазма. Мерия решила после спектакля чествовать м-ра Харлей и всех артистов устройством раута, на который получили приглашение представители всех министерств и иностранных государств.

Уже с пяти часов вечера нельзя было пробиться к театру. Фыркающие авто, нагруженные самыми разнообразными королями и их дамами, тысячи кэбов и собственных выездов, грузные моторы городского самоуправления, легкие и кокетливые фиакры властительниц сердец, блестящие велосипеды и рывающие мотоциклы всех существующих систем,—все это сплошной цепью тянулось к театру

Самуэlsa. Наверху трещали аэропланы, а по тротуарам, давя и тесня друг друга, в одном порыве неслись сотни, тысячи любопытных, кеслись все к тем же ярко освещенным дверям театра, чтобы посмотреть, как входят счастливики. Метрополитен, автобусы и трамваи прекратили работу, т. к. публика совершенно не желала считаться с вместимостью вагонов и заполняла не только все проходы, но даже предо-

рикмахер, который документально доказал, что м-р Харлей стригся у него, и вечером все мужчины были обязаны явиться в театр, причесанными à la Харлей. Исключение делалось только для лысых и для поэтов. Кучка консерваторов, не пожелавших переменить прически, была встречена свистом и насмешками. Парфюмерные и кондитерские фабрики выпустили товары. «Любимые духи Харлей», «конфеты и шоколад



Уже с пяти часов вечера нельзя было пробиться к театру.

хранительные сетки и буфера. Для поддержания порядка были вызваны полицейские части из Чикаго, т. к. местные уже падали от усталости.

В 7 часов театр был так переполнен, что дышать не было никакой возможности, хотя самое дешевое место на галлерее стоило дороже, чем полное оборудование тихоокеанского парохода.

Воздух искусственно очищался не только вентилированием, но и введением окиси кальция в особых баллонах и небольшими количествами азота. Еще утром нашелся па-

Харлей». Дамы бешенно покупали и то и другое.

В 7 часов мисс Ирвинг и м-р Харлей были встречены около дверей дома Самуэlsa инспектором полиции, который, предварительно удостоверившись по их бумагам, что это — именно они, чрезвычайно почтительно сам проводил их до лифта. Это обстоятельство очень удивило и смutilo молодых людей, но Самуэльс отказался дать какие бы то ни было разъяснения, а торопил ехать в театр. В начале 8-го они сели в закрытый автомобиль и помчались.

Молодые люди были печальны. За чем понадобилось Самуэльсу еще раз ставить пьесу, которая все равно обречена на гибель? Иза приподняла штору и не могла удержаться от восклицания изумления: улица, ведущая к театру представляла бушующее море, устремленное к одной цели—к блестящим в надвигающейся темноте дверям театра.

В театре, за кулисами все артисты были в сборе. Они были взволнованы и возбуждены, из уст в уста только и шла весть о совершенно небывалом переполнении театра. Иза и Харлей были встречены с какой-то благоговейной почтительностью, но Самуэльс не дал им времени осознать в чем дело. Он почти насильно втолкнул их в свой кабинет и запер дверь. Харлей, кажется, в первый раз в своей жизни растерялся. Он ничего не понимал в том, что видел, а Самуэльс неожиданно исчез в кассу. Когда он вернулся, лицо его выражало неопишное блаженство и совершенно лоснилось от пота и какой-то сияющей счастливой улыбки..

Иза волновалась... Зрительного зала она еще не видала, но когда, провожаемая Самуэльсом, она проходила в свою уборную, чтобы одеться,—взгляд ее через слуховое оконце упал на партер,—необычайное зрелище изумило ее. Никогда еще в жизни не видела она такого числа человеческих голов, сияющих пластронов и оголенных плеч. Самуэльс стоял рядом и улыбался. Он положил руку на плечо девушки.

— Послушайте, Иза. Сегодня решается ваша судьба и судьба Харлея. Не волнуйтесь. Играйте так, как можете только вы одна на всех сценах Старого и Нового света...

Самуэльс говорил ласково и почти повелительно. Иза сразу успокоилась.

Харлей сидел в кабинете директора, печально понурив голову. Самуэльс, вернувшись, налил полстакана коньяку и протянул Харлею.

— За успех вашей пьесы. Пейте! Ну!

Самуэльс настоял, Харлей выпил. О, мир еще не так плох, а коньяк обворожителен!

— Отнесите мисс Ирвинг, — приказал Самуэльс горничной, наливая немного коньяку в другой стакан.

До поднятия занавеса оставалось три минуты. Публика насторожилась, зажгли рампу. За кулисами царил небывалое напряжение, артисты любили и Изу и Вильяма, они узнали, что сегодня стоит на карте счастье молодых людей.

Иза совсем успокоилась. Она чувствовала приближение того таинственного и великого момента, когда она переставала быть Изой Ирвинг, а становилась другой непонятной и загадочной женщиной, героиней причудливого замысла гениального автора.

Самуэльс шутил, подбадривая артистов, непривыкших играть перед такой аудиторией; Харлей был бледен. Наконец, раздался удар гонга, свет погас, и тяжелый бархатный занавес раздвинулся. Тысячи легких затаили дыхание, публика не шевелилась. Слышно было, как за стенами театра глухо рокотала могучая людская волна. Вильям впился ногтями в обивку кресла, спрятанного в самой глубине директорской ложи. Для него была теперь только одна жизнь—жизнь сцены. Иза Ирвинг играла... Так играют только раз в жизни, когда к великому таланту присоединяется всеильное желание счастья. Поистине художественные, глубоко жизненные и правдивые в своей красоте положения смелой пьесы сразу захватили публику. Артисты, робкие первые несколько минут, почувствовали и дивную красоту пьесы, и свою необъятную власть над громадным театром. Все играли так хорошо, как никогда.

Первое действие кончилось, занавес упал... Публика молчала, даже дыхания не было слышно. Самуэльс торжествующе улыбался: он знал, что значит это затишье перед грозой. Наверху, на галлерее кто-то вскрикнул, хлопнул в ладоши, и буря началась, началось нечто невообразимое. Театр был от восторга; стоял такой гул от аплодисментов и иступленно топающих ног, что, казалось,

стены театра обвалятся и похоронят под собой совершенно обезумевших зрителей. Привыкшие ничему не удивляться финансовые и биржевые тузы бешено аплодировали. Дамы махали платками; шум достиг таких пределов, что у многих полопались барабанные перепонки.

— Автор! — истуканно вопили все, начиная с галереи и кончая партером

— Мисс Ирвинг, — добавляли мужчины.

И когда оба они, бледные и возбужденные, появились у сияющей рампы, тысячи благоуханных цветов полетели к их ногам. Восемьдесят четыре опытных капельдинера не успевали передавать ценных приношений из залы на сцену. Управление трансатлантической компании преподнесло билет на право пожизненной езды на всех пароходах общества; нефтяной трест представил свои акции на громадную сумму. Не желая отставать, другие учреждения поспешили принести свои приношения, и скоро сцена была уставлена самыми разнообразными предметами от швейных машин и до пылесосов включительно. Портсигары, бумажники и часы складывались в особую урну, но скоро и она не могла, несмотря на свои размеры, вместить всех драгоценностей. Одна велосипедная фирма прислала два лучших велосипеда, тогда другая — тандем, а третья — триплет. Каждое новое действие было новым триумфом для Изы и Вильяма. Седые профессора аплодировали, как школьники, дамы ловили мимолетный взгляд Харлея; не имея уже более что можно было бы бросить ему на сцену, — они посылали воздушные поцелуи. Виднейшие промышленники, владевшие неисчислимыми богатствами, визжали, как продавцы вечерних газет. Автомобильная фирма Форд прислала изящнейший мотор, собранный во время второго действия; различные аэрозаводы сообщили о том, что во владение Харлея передается такое количество аэропланов, что можно было бы удовлетворить нужды целой армии. Чтобы

не затягивать антрактов, приношения принимались только в фойе, а на сцене читался список. Но и это оказалось столь длительным, что было объявлено о том, что точный перечень всего полученного будет опубликован в особой газете, которая выйдет к концу 4-го акта. Между вторым и третьим актом театр облетел слух, что Харлей и Ирвинг — жених и невеста, и тотчас стало известно, что союз фермеров преподнес им изящный коттедж, и что в списке подарков уже значатся обручальные кольца, коляска и дюжина патентованных детских сосков. Между третьем и четвертым действием пришло сообщение, что м-р Харлей читал газету «Новости Дня» — и тотчас весь театр коллективно подписался на 10 лет вперед на эту газету, а м-р Харлей был объявлен ее пожизненным бесплатным подписчиком. Вой и рев толпы, гуденье вентиляторов и треск переставляемых декораций производили такой адский шум, что Самуэль велел вывесить плакат, который гласил «Если почтенная публика не успокоится в течение 10 минут, 4-е действие не пойдет». Это подействовало, и занавес мог взвиться снова.

Наконец, представление окончилось, занавес опустился в последний раз, но публика и не думала расходиться, хотя свет уже давно погасили. Репортеры устанавливали строгую очередь, чтобы проинтервьюировать м-ра Харлея; учение и художественные общества выстроились в ряд, чтобы принести адреса, представители города вырабатывали ритуал приглашения. Фотографы извели весь имеющийся запас магния, двери кабинета директора, где скрывались Вильям и Иза, стали таким же местом паломничества и трепетного ожидания, как утроем — двери театра.

В кабинет директора не пропускали никого, кроме артистов и тех, кто имел собственноручное письменное разрешение Самуэля. В небольшой комнате было душно, шумно и весело. Иза и Вильям, радостные, воз-

бужденные, похорошевшие, служили предметом какого-то молитвенного преклонения. Капельдинеры внесли фужеры с шампанским. Самуэльс, потный с сияющим лицом и весело прыгающими глазами, долго водворял тишину, ударяя кольцом по фужеру. Наконец, она водворилась, и он получил возможность говорить:

— Господа, внимание и еще раз — внимание.

Самуэльс отер пот, ливший по его лицу, как весенние потоки:

— Позвольте, во-первых, от лица нашей общей артистической среды поздравить м-ра Харлей и мисс Ирвинг с тем заслуженным успехом, свидетелями которого мы были сегодня, а во-вторых, — объявить, что на будущей неделе, в субботу, в городской мерию состоится бракосочетание девицы Ирвинг с м-ром Харлей.

Гром аплодисментов, веселых криков и поздравлений покрыл слова Самуэльса. В общей суматохе никто не заметил, как несколько невзрачных субъектов протолкнулись в комнату. Вдруг один из них взгромоздился на стол и закричал пронзительным и высоким голосом

— Алло, м-р Самуэльс. Деньги! Деньги!

Все замолчали

— Да, деньги по счету за печатание плакатов. Опоздание в расплате на 32 минуты.

— И мне, — закричал второй субъект, устраиваясь рядом с товарищем.

— За расклейку афиш, за посылных, сандвичей, кэбы, авто...

— И мне, — вопил третий

— За безработных, за прогрессивное...

— Не орать! — перебил Самуэльс и собрал все протянутые к нему счета.

— Платите, — приказал он старшему кассиру.

— Что это значит? — спросил изумленный Харлей.

Кассир безмолвно и быстро платил.

— Что это значит?

Снова, более резко, повторил вопрос Харлей; все молчали.

— А это, — весело ответил Самуэльс, — расплата с публикой первых пяти дней, давшей нам возможность собрать полный сбор с публики сегодняшнего шестого дня!...

Взрыв хохота и аплодисментов был наградой умному антрепренеру.

К этому остается добавить очень немного. Утренние газеты захлебывались от восторга, расхваливая новую пьесу м-ра Харлей и игру уничтожены. Археологическое общество прислало Харлею степень доктора археологии *honoris causa*, бесчисленное количество других обществ поступило так же. Детские дома и школы назывались в честь Изы Ирвинг, всем рождающимся детям давали имена или Изы или Вильяма, в зависимости от пола. На первой странице утренних газет было скромное объявление. «По просьбе многочисленных депутатий как от митингов, так и от организованных сообществ, м-р Харлей, в согласии с директором театра Дж. Самуэльса, решил отложить свой отъезд в Европу на два месяца, в течение которых ежедневно будет итти новая пьеса м-ра Харлей с участием Изы Ирвинг». — Около театра делалось то же, что накануне...

Полные сборы на два месяца были обеспечены, за один спектакль Самуэльс разбогател. За пять дней бюро безработных сделало хорошие дела. Иза и Вильям готовились к свадьбе... Самуэльс улыбался...

СКОВАННЫЕ РУКИ



Рассказ О. Генри.

В Денвере, в поезд, идущий на восток, нахлынула толпа новых пассажиров. В одном из купе сидела очень хорошенькая молодая женщина, одетая элегантно и со вкусом, устроившаяся уютно и комфортабельно, привычная путешественница.

Среди вошедших было два молодых человека: один—с красивым открытым лицом и непринужденной манерой держаться, другой—мрачный растрепанный, нескладный и грубо одетый. Они были скованы друг с другом ручными кандалами.

Единственным свободным местом в купе оказалась откидная скамеечка против хорошенькой дамы. Скованная пара заняла это место. Молодая женщина скользнула по ним безразличным быстрым взглядом и вдруг, с милой улыбкой, осветившей ее лицо, и нежно зарумянившимися щеками она протянула маленькую зажатую в серую лайку руку..

— Ну, мистер Истон, придется мне первой заговорить с вами, раз вы этого хотите. Вы никогда не узнаете старых друзей, когда встречаете их на Западе? Молодой человек, быстро приподнявшийся при звуке ее голоса, казалось слегка смутился, но, тотчас оправившись, сжал ее пальчики левой рукой.

— Да ведь это мисс Ферчайлд!—сказал он с улыбкой.—Простите, что здороваюсь левой рукой: правая как раз сейчас занята.

Он поднял правую руку, прикованную у кисти блестящим браслетом к руке его спутника.

Сиявшие перед этим радостью глаза девушки расширились от изумления и страха. Краска сбежала с ее лица и губы как-то соболезнующе и растеренно полусткрылись. Истон, усмехнувшись, как будто это его очень забавляло, хотел что-то сказать, но другой опередил его. Зоркие, хитрые глаза мрачного человека наблюдали исподлобья за выражением лица девушки.

— Простите, что я вмешиваюсь в разговор, мисс,—быстро проговорил он—но вы, как видно, знакомы с сопровождающим меня шерифом. Если вы попросите его замолвить за меня словечко, когда мы доберемся до тюрьмы, он сделает это—и мне много легче будет там. Он везет меня в Ливенворт в тюрьму. Засудили на семь лет за подделку.

Девушка облегченно вздохнула и щеки ее порозовели.

— Так вы вот что здесь делаете. Вы служите шерифом.—Истон кинул быстрый взгляд на своего спутника.

— Мисс Ферчайлд, милая,—сказал он, и голос его почему-то дрогнул,—ведь надо-же что нибудь делать. Деньги улетучиваются мигом, а вы знаете, что их нужно немало, чтоб держаться наравне с нашей вашингтонской компанией. Я увидел выход из положе-

ния на Западе...—и—ну, конечно, этот пост не то, что пост посланника, но...

— Посланник у нас не бывает больше: о посланнике нечего и говорить,—ласково проговорила девушка.—Вам бы следовало знать это. Итак, теперь вы один из этих западных героев, и вы ездите верхом, стреляете и подвергаетесь всяким опасностям. Это непохоже на вашингтонскую жизнь. А старым друзьям вас очень не хватает.

Глаза девушки, невольно, слегка расширились, остановились на блестящих кандалах.

— Не беспокойтесь о них, мисс,—сказал другой человек:—все шерифы приковываются к арестованным, чтоб они не удрали. Мистер Истон знает свое дело.

— Мы вас скоро увидим опять в Вашингтоне?—спросила девушка.

— Думаю, что не очень,—проговорил Истон,—боюсь мои веселые дни прешли.

— Я люблю Запад, сказала девушка неожиданно. Ее глаза мягко сияли. Она смотрела в окно вагона.

Просто и правдиво, без тени светского кокетства, она заговорила:

— Мы с мамой провели лето в Денвере. Она неделю тому назад уехала домой, потому что отцу что-то нездоровилось. Я бы могла жить и быть счастливой на Западе. Мне кажется, что даже воздух здесь как-то мне подходит. Ведь не все дело в деньгах. Но люди всегда неправильно понимают это, и выходит как-то глупо...

Легкий вздох приподнял грудную клетку Истона.

— Послушайте, мистер шериф,—заворчал мрачный человек.—Это нехорошо. Я хочу пить и не курить целый день. Вы все еще не наговорились? Проводите меня в курилку, пожалуйста, а то я помру без трубки.

Связанные путешественники под-



Они были скованы друг с другом ручными кандалами...

нялись на ноги, Истон все с той же улыбкой на губах:

— Не могу отказать в просьбе о табаке,—сказал он небрежно.—Это единственная страля несчастного. Прощайте, мисс Ферчайлд. Долг призывает, знаете-ли.—И он протянул ей руку.

— Очень, очень жаль, что вы не едете на восток—сказала она, приняв прежний светский вид.—Но вам, кажется, нужно ехать в Ливенворт?

— Да,—сказал Истон.—я должен ехать в Ливенворт?

Оба прошли по корридору в курительную. Два пассажира с сосед-

ней скамьи слышали почти весь разговор.

Один сказал:—Этот шериф, кажется, хороший малый. Есть настоящие молодцы среди этих западных ребят. Но...

— Слишком молод для такой должности, неправда-ли?—заметил другой.

— Молод?—воскликнул первый,—да, но... О, да вы не заметили? Слушайте, вы когда-нибудь видели, чтоб шериф приковывал преступника к своей правой руке?

А если бы девушка, оставшаяся в купе, могла слышать, что говорилось в курительной, глаза ее перестали бы сиять.

— Спасибо,—говорил Истон,—вы меня выручили в очень тяжелую минуту.

— Ну, ладно!—грубо отрезал «преступник».—Это не для вас. Вы подумайте, каким страшным ударом было бы для бедняжки узнать, что это я вас везу в тюрьму.



ЧЕТЫРЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЧЕЛОВЕКА.

Серия рассказов Эдгара Уоллеса.

2.

Человек с клыками.

I.

— Убийство всегда представляется мне одним из самых случайных преступлений,—сказал Леон Гонзалез, снимая свои большие очки и с забавной серьезностью глядя на Манфреда, руководителя операций Четырех Справедливых.

— Пуакара рассматривает убийство, как видимое проявление истерии,—ответил тот с улыбкой,—но почему вы затрагиваете такие страшные темы за завтраком?

Гонзалез снова одел очки и погрузился в изучение утренней газеты. Через минуту он опять заговорил:

— Из ста человек, обвиняемых в убийстве, восемьдесят впервые подвергаются судебному преследованию. Поэтому убийцы не составляют особого класса преступников; я говорю, разумеется, только об англосаксах. Латинские и тевтонские криминальные классы не подходят под это правило: во Франции, Италии и Германии из ста преступников еСТЬДЕСЯТ убийцы.

— Я не могу относиться к этим джентльменам с полным беспристрастием,—ответил Джордж Манфред, забавляясь его энтузиазмом,—мне убийство кажется апофеозом несправедливости.

— Пожалуй, вы правы,—рассеянно ответил Гонзалез.

— Что навело вас на эти размышления? — спросил Манфред, складывая свою салфетку.

— Вчера вечером я встретился с одним человеком, который, по моему мнению, необычайно подходит к типу убийц,—сказал спокойно Гонзалез:—он попросил у меня спичку и улыбнулся, благодаря меня. У него без-

укоризненные зубы, дорогой мой Джордж... безукоризненные, за исключением...

— За исключением чего?

— Я заметил, что клыки у него необыкновенно широкие и длинные.

— Похож на людоеда?—улыбнулся Манфред.

— О, нет! Напротив, он выглядит очень прилично! — возразил Гонзалез;—у него очень приятная наружность. Не всякий обратит внимание на эту неправильность.

Он начал рассказывать о вчерашней встрече. Вечером он пошел в концерт, чтобы изучить впечатление, которое производит музыка на некоторых типов. Он вернулся домой с программой, сплошь исчерченной какими-то иероглифами, и просидел полночи, разбирая свои заметки.

— Он—сын профессора Тэблмэна. У него неважные отношения с отцом, который, повидимому, не одобряет его невесты, а своего кузена он ненавидит,—прибавил Гонзалез.

Манфред громко расхохотался.

— Забавный вы человек, Леон! Неужели он рассказал вам всю свою историю по доброй воле, или вам пришлось его загипнотизировать, чтобы получить нужные сведения? Вы даже не спросили меня, что я делал вчера вечером?

Гонзалез медленно и глубокомысленно зажег папиросу.

— Он ростом около двух метров, говоря точнее—шесть футов два дюйма. Крепко сложен; вот с такими плечами!—Держа в одной руке зажженную спичку, а в другой—папиросу. Гонзалез показал ширину плечей молодого человека.—У него большие, сильные руки, и он играет в футбол... Простите меня, Манфред! Где же были вы вчера?

— В Скотленд-Ярде,—сказал Манфред. Если он надеялся произвести впечатление на Гонзалеза, ему пришлось разочароваться; но, вероятно, зная своего Леона, Манфред и не рассчитывал на какой-либо эффект.

— Интересное здание,—сказал Гонзалез:—архитектору следовало бы повернуть фасад к югу, но вход вполне соответствует характеру постройки. Вы проникли туда без всяких затруднений?

— О, да! Мои работы, касающиеся испанского криминального кодекса, и монография по дактилоскопии обеспечили мне доступ к начальнику Скотленд-Ярда.

II.

Манфред жил в Лондоне под именем сеньора Фуэнтеса. И он, и Гонзалез были известны, как выдающиеся испанские ученые. Манфред провел в Испании много лет, а Гонзалез был уроженцем этой страны. Третий из Четырех Справедливых — Пуакар — редко выезжал из Кордовы, где у него были огромные сады; четвертый умер уже двадцать лет тому назад.

Посещение Манфредом Скотленд-Ярда напомнило Гонзалезу о Пуакаре.

— Вы должны написать об этом нашему другу, Джордж,—сказал он,—он очень заинтересуется. Сегодня утром я получил от него письмо. На его ферме появился новый выводок поросят, а его алельсинные деревья сейчас в цвету. Как же вас встретили в Скотленд-Ярде?—прибавил он.

— Они были очень любезны и внимательны,—ответил Манфред,—завтра мы с вами завтракаем с одним из помощников комиссара полиции, мистером Реджинальдом Фэром. Методы британской полиции значительно усовершенствовались с тех пор, как мы были в Лондоне, Леон. Отдел, ведающий отпечатками пальцев, приобрел большое влияние, а их новые сотрудники—очень проникательные молодые люди.

— В таком случае, они нас могут повесить,—замечал беззаботно Леон.

— Не думаю,—ответил его друг.

Завтрак в Ритц-Карльтоне представлял большой интерес особенно для Гонзалеза. Мистер Фэр, человек средних лет, был многообещающим ученым и джентльменом в полном смысле этого слова.

— Для обычного преступника мир является одной огромной тюрьмой,—сказал Фэр,—эта мысль была высказана еще сто лет тому назад. Если же мы перейдем к убийцам, которых нельзя рассматривать, как преступный класс...

— Правильно!—перебил Гонзалез,—я вполне согласен с вами.

Появление лакея с письмом для мистера Фэра прервало ход его мыслей. Комиссар извинился перед своими гостями и вскрыл конверт.

— Гм!—промычал он,—странное совпадение...

Он задумчиво взглянул на Манфреда.

— Прошлый раз вы говорили мне о своем желании ближе познакомиться с работой Скотленд-Ярда, и я обещал вам свое содействие при первом удобном случае. Если не ошибаюсь, случай этот представился.

Он подозвал лакея, расплатился по счету и сказал, вставая из-за стола:

— Я отнюдь не думаю пренебрегать вашей опытностью, и весьма возможно, что в данном случае нам понадобится ваша помощь.

— Что случилось?—спросил Манфред, когда они мчались в автомобиле по дороге в Челси.

— Человек был найден мертвым при необычайных обстоятельствах,—ответил комиссар:—он занимает выдающееся место в научном мире. Это—профессор Тэблмен. Может быть, вам знакомо его имя?

— Тэблмен?—воскликнул Гонзалез, широко раскрыв глаза:—вы только что говорили о совпадениях, мистер Фэр, но это совпадение действительно кажется мне необычным.

И он рассказал о своей встрече в концерте с сыном профессора Тэблмена.

— Профессор Тэблмен живет в Челси. Несколько лет тому назад он купил там дом у одного художника,

и приспособил его студию для своей лаборатории. Он читал лекции по физике и химии в Блумсберийском университете,—объяснял Фэр, хотя Манфред уже вспомнил это имя:—у него было порядочное состояние. Я был знаком с профессором, и около месяца тому назад мы однажды обедали вместе. В то время у него были какие-то нелады с сыном. Тэблмен—деспотический, непреклонный старик, один из тех типов христиан, которые боготворят исторические фигуры Старого Завета, но, кажется, так и не дошли до второй книги.

III.

Они прибыли в месту своего назначения. Сыщик, ожидавший комиссара, вышел им навстречу и повел через крытую галерею, окружающую дом, к лестнице, ведущей в студию. Это была светлая комната с огромным окном и стеклянной крышей. Широкие скамьи, стоящие вдоль стен, и большой стол, занимающий середину комнаты, были заставлены физическими приборами. Над скамьями висели две длинные полки, заполненные колбами и бутылками, очевидно, содержащими химические препараты.

Когда они вошли в комнату, им навстречу поднялся со стула какой-то молодой человек с печальным лицом.

— Я—Джон Менсей,—сказал он,—племянник профессора. Вы помните меня, мистер Фэр? Я обычно помогал дяде во время его экспериментов.

Фэр рассеянно кивнул головой. Его внимание было привлечено чьим-то телом, лежащим на полу между столом и скамьей.

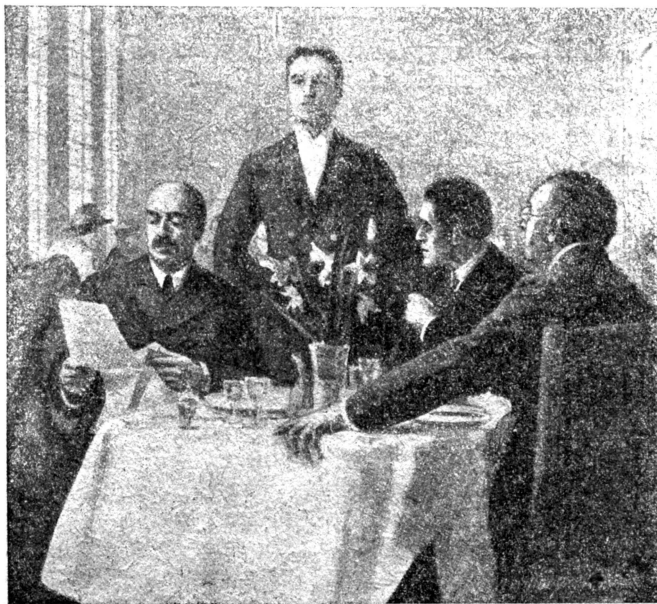
— Я не передвигал профессора,—сказал молодой человек—сыщики трогали его, когда помогали доктору

при осмотре, но потом снова положили его там, где он упал.

Это было тело высокого, худощавого человека. На лице его застыло выражение страдания и ужаса.

— Похоже на удушение,—сказал Фэр:—не нашли ли вы веревки или шнура?

— Нет, сэр,—ответил молодой человек:—к тому же выводу пришли и



Комиссар извинился перед своими гостями и вскрыл конверт.

сыщики, и мы тщательно обыскали всю лабораторию

Гонзалес опустился на колени подле тела и с глубоким интересом разглядывал худощавую шею. Вокруг шеи проходила синяя полоса дюйма четыре в ширину, похожая с первого взгляда на повязку из какой-то прозрачной материи. Новглядевшись внимательнее, Гонзалес убедился, что эта полоса вызвана изменением окраски кожи. Он взглянул на стол, подле которого упал профессор.

— Что это?—спросил он, указывая на небольшую зеленую бутылку, около которой стояла пустая рюмка.

— Это бутылка с Creme de menthe,—ответил юноша:—дядя выпивал обычно стаканчик на ночь.

— Можно взглянуть?—спросил Леон. Фэр кивнул головой.

Гонзалес схватил стакан, понюхал его и посмотрел на свет.

— Стакан совершенно чистый; очевидно, убийство произошло раньше, чем он выпил,—сказал комиссар:—Расскажите мне подробно обо всем, мистер Менсей. Если не ошибаюсь, вы спите в том же помещении?

Дав несколько указаний сыщикам, комиссар последовал за молодым человеком в комнату, которая, очевидно, была библиотекой покойного профессора.

Я был помощником и секретарем моего дяди в течение трех лет,—начал он:—и всегда у нас были самые лучшие отношения. По утрам дядя обычно работал в лаборатории, после полудня он проводил время в библиотеке или в университете, и каждый вечер производил опыты.

— Он обедал дома?—спросил Фэр.

— Да,—ответил мистер Менсей,—только в тех случаях, когда у него были вечерние лекции или он присутствовал на заседаниях обществ, с которыми был связан, он обедал в клубе на Сент-Джемс Стрит. У моего дяди, как вам, вероятно, известно, мистер Фэр, были серьезные нелады с сыном, Стефаном Тэблменом, моим кузеном и лучшим другом. Я приложил все силы, чтобы помирить их и, когда, год тому назад, дядя позвал меня в эту самую комнату и сказал, что он лишает сына наследства и изменяет завещание в мою пользу, я немедленно пошел к Стефану и умолял его, не теряя времени, помириться со стариком. Стефан только расхохотался и сказал, что ему нет дела до денег профессора. Он предпочитает беззаботно жить на небольшую сумму, оставленную ему матерью, и жениться на мисс Фабер—размолвка произошла по поводу его обручения. Я вернулся домой и просил профессора восстановить Стефана в его правах, предоставив мне некоторую долю в наследстве. Я следовал по тому же научному пути, который прошел профессор в дни своей молодости, и лстил себя надеждой продолжать его

дело, имея в руках небольшую сумму денег. Но профессор оказался непреклонным, и я счел наиболее разумным прекратить разговор.

Тем не менее, я не терял удобного случая замолвить словечко за Стефана, и на прошлой неделе, когда дядя был в необычно хорошем настроении духа, я убедил его повидаться с сыном. Встреча произошла в лаборатории. Я не присутствовал во время их разговора, но, насколько я знаю, дело кончилось крупной ссорой. Когда я вошел в комнату, Стефана уже не было, а мистер Тэблмен дрожал от бешенства. Повидимому, он снова начал настаивать на том, чтобы Стефан порвал со своей невестой, а тот отказался наотрез.

IV.

— Как прошел Стефан в лабораторию?—спросил Гонзалес:—могу я задать этот вопрос, мистер Фэр?

Комиссар кивнул головой.

— Он прошел по галлерее через боковой вход. Очень немногие из тех, кто приходит по делам, входят в дом.

— Значит вход в лабораторию открыт во всякое время?

— До позднего вечера, когда дверь запирается,—ответил молодой человек.—На ночь дядя пил свой *crème de menthe* и обычно пользовался этим входом, чтобы пройти в лабораторию.

— Вчера вечером дверь была закрыта?

Джон Менсей покачал головой.

— Нет,—сказал он,—на это я прежде всего обратил внимание. Дверь была полуотворена. Вы, вероятно, заметили, что это, собственно говоря, не дверь, а железная решетка.

— Продолжайте,—сказал мистер Фэр.

— Через два-три дня профессор успокоился, гнев его остыл, и он выглядел очень задумчивым и, пожалуй, печальным. В понедельник—какой у нас сегодня день? четверг?—да, в понедельник он сказал мне:—Джон, поговорим о Стиве. Не думаешь ли ты, что я очень сурово с ним обошелся?

— Мне кажется, вы несправедливы к нему, дядя,—ответил я.

— Возможно, что ты и прав,—сказал он:—должно быть, она славная девушка, если Стефан готов ради нее отказаться от наследства.

Я воспользовался удобным случаем и начал защищать Стефана с таким красноречием, что мой кузен, навер-

— Что произошло вчера вечером?—спросил Фэр.

— Я услышал, что Стефан приехал,—продолжал Менсей:—я ушел в свою комнату и провел вечер, разбирая корреспонденцию. Около половины одиннадцатого я спустился вниз, но профессор еще не возвращался. Из окна я увидел свет в лаборатории и подумал, что разговор профессора с сыном сильно затянулся. Я счел это хорошим признаком и лег спать в надежде, что все уладится.

В восемь часов утра меня разбудила экономка, которая сказала мне, что профес-



Гонзалес опустился на колени подле тела.

— Что это?—спросил он.

ное, одобрил бы меня. Дело кончилось тем, что старик смягчился и послал телеграмму Стефану, в которой звал его к себе в среду вечером. Очевидно, профессор преодолел свое предубеждение против мисс Фабер; он был фанатиком в вопросах наследственности...

— Наследственности?—с любопытством переспросил Манфред:—какое это имеет отношение к мисс Фабер?

— В точности не знаю,—ответил Менсей:—до профессора дошли слухи о том, что ее отец умер в убежище для страдающих запоем. Я считаю эти слухи неосновательными.

сора нет в его комнате. В этом я не увидел ничего особенного: дядя часто работал до поздней ночи в лаборатории и незаметно засыпал в кресле. Я всегда протестовал против этой привычки, но дядя не выносил ни малейшей критики.

Я одел халат и туфли и прошел в лабораторию. Я увидел его лежащим на полу. Он был мертв.

— Дверь в лабораторию была открыта?—спросил Гонзалес.

— Она была полуотворена.

— А калитка в галлерее?

— Тоже самое.

— Вечером вы не слышали никакого шума, раздраженных голосов?

— Я не слышал ничего.

Кто-то постучал, и Менсей подошел к двери.

— Это Стефан,—сказал он. Минуту спустя в комнату вошел Стефан Тэблмен в сопровождении двух сыщиков. Он был очень бледен. Здороваясь, он улыбнулся своему кузену, и Манфред заметил его огромные выдающиеся клыки. Все остальные зубы были нормальной величины.

Стефан Тэблмен выглядел настоящим великаном, и Манфред, взглянув на его огромные руки, задумчиво закусил губу.

— Вы слышали печальную новость, мистер Тэблмен?

— Да, сэр,—сказал Стефан дрожащим голосом,—могу я видеть отца?

— Немного погодя,—ответил Фэр, и голос его звучал жестко:—скажите, когда вы видели в последний раз вашего отца?

— Я видел его в живых вчера вечером,—ответил поспешно Стефан Тэблмен:—я был у него в лаборатории по его приглашению; мы вели с ним длинный разговор.

— Сколько времени вы пробыли с ним?

— Приблизительно, окло двух часов.

— Разговор носил миролюбивый характер?

— О, да!—воскликнул Стефан.—В первый раз за целый год мы спокойно обсуждали с ним один вопрос.

— Темой разговора была ваша предстоящая женитьба на мисс Фабер?

— Вы правы, мистер Фэр,—спокойно ответил Стефан.

— Вы затрагивали и другие темы? Стефан с минуту поколебался.

— Мы говорили о деньгах,—сказал он наконец:—отец перестал давать мне деньги, и я находился в довольно затруднительном положении. Он обещал исправить это дело и заговорил... о будущем.

— О своем завещании?

— Да, сэр. Отец сказал, что он думает изменить свое завещание.—Стефан взглянул на Менсея и улыб-

нулся:—мой кузен оказался очень настойчивым адвокатом, и я глубоко благодарен ему за его отношение ко мне в эти тяжелые времена.

— Когда вы оставили лабораторию, вы вышли через боковой ход?

Стефан утвердительно кивнул головой.

— И вы заперли за собой дверь?

— Отец сам запер дверь,—сказал он:—я слышал, как повернулся ключ в замке, когда я шел по аллее.

— Можно ли открыть дверь снаружи?

— Да,—сказал Стефан:—ключ от двери всегда находился у отца. Я, кажется, не ошибаюсь, Джон?

Джон Менсей подтвердил его слова.

— Следовательно, если он запер за вами дверь, ее мог открыть только кто-нибудь, находившийся в лаборатории? Он сам, например?

Стефан вспыхнул.

— Я не совсем понимаю, что означает этот вопрос,—сказал он:—сыщик сказал мне, что отец был найден мертвым. Вы выяснили причину его смерти?

— Я думаю, он был задушен,—спокойно ответил Фэр. Молодой человек отшатнулся.

— Задушен!—прошептал он:—но у него не было врагов!

— Это мы и должны выяснить,—сухо сказал Фэр,—вы можете идти теперь, мистер Тэблмен.

V.

Поколебавшись с минуту, молодой человек вышел из комнаты. Через четверть часа он вернулся; лицо его было покрыто смертельной бледностью.

— Ужасно, ужасно!—бормотал он,—бедный отец!

— Вы собираетесь быть доктором, мистер Тэблмен? Я слышал, что вы работаете в госпитале,—сказал Фэр—согласны ли вы со мной, что ваш отец был задушен?

Стефан кивнул головой.

— Похоже на то,—сказал он, с трудом выговаривая слова,—я не мог произвести подобный осмотр: ведь он мне не посторонний человек...

Манфред и Гонзалес молча возвращались домой под впечатлением только что виденной сцены.

— Вы обратили внимание на его кльики?—прервал молчание Леон с каким-то торжеством в голосе.

— Я заметил также и его неподдельное отчаяние,—сказал Манфред.

— Очевидно, вы не читали прекрасную монографию Мантегацца «Психология страдания», ответил с усмешкой Леон, — вероятно, вам знакомы и его «Синонимы выражения», откуда вы могли бы узнать, что выражение горя невозможно отличить от проявления раскаяния.

Манфред взглянул на своего друга со спокойной улыбкой.

— Всякий, кто не знает вас, Леон, скажет, что вы убеждены, будто профессор Тэблмен задушен собственным сыном.

— После жестокой ссоры, — прибавил Гонзалес.

— Когда молодой Тэблмен ушел, вы снова вернулись в лабораторию. Нашли вы там что-нибудь?

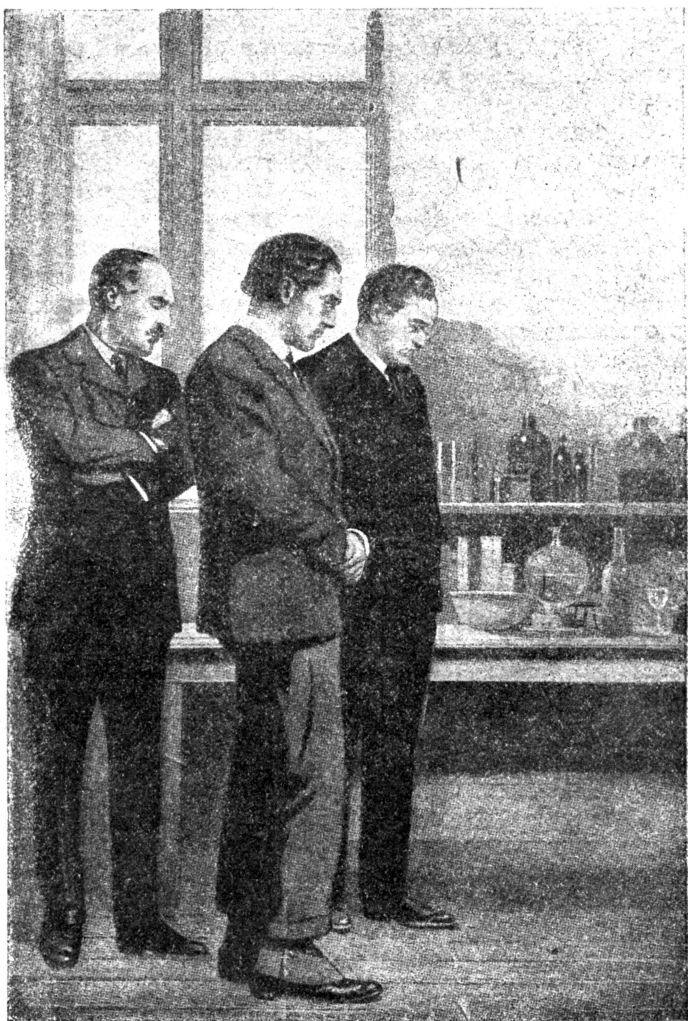
— Только то, что и ожидал найти, — ответил Гонзалес. — Я знал, как было совершено убийство, ибо это было убийство, — в тот момент, когда я вошел в лабораторию и увидел термос и втулку из ваты.

Внезапно он нахмурился и остановился.

— Santa Miranda!—воскликнул он. Гонзалес всегда клялся этой несуществующей святой, я совершенно забыл! Он оглянулся по сторонам.

— Здесь есть одно место, откуда мы можем позвонить по телефону, — сказал он, — хотите пойти со мной?

— Я сгораю от любопытства, — ответил Манфред.



Поколебавшись с минуту, молодой человек вышел из комнаты...

Они вошли в какую-то лавку, Гонзалес подошел к телефону и назвал номер. Это был номер телефона, который стоял на столе покойного профессора.

— Это вы, мистер Менсей?—спросил Гонзалес, —это я. Вы помните, я только что был у вас? Да, я так и думал, что вы узнаете мой голос. Я хотел спросить вас, не узнаете

ли вы, где находятся очки профессора?

Наступило минутное молчание.

— Очки профессора?—послышался голос Менсея,—как, разве они не на нем?

— Их не было ни на теле, ни подле него,—сказал Гонзалез,—посмотрите, нет ли их в его комнате? Я держу трубку.

Он ждал у телефона, напевая какую-то арию. Снова раздался голос Менсея.

— Вы говорите, что они в его спальне?—переспросил Гонзалез,—очень вам благодарен.

Он повесил трубку. Он не объяснил этого разговора Манфреду, а Манфред не просил объяснений, так как Леон Гонзалез очень любил таинственность.

— Клыки!—прошептал с улыбкой Манфред. Очевидно, эта мысль очень забавляла его.

Когда на следующее утро Гонзалез вышел к завтраку, лакей сообщил ему, что Манфред ушел еще рано утром. Джордж вернулся минут через десять после того, как Леон принялся за завтрак.

— Вы приводите меня в недоумение, Джордж, вашим таинственным видом,—сказал Гонзалез,—я не могу разобраться, заинтересованы ли вы чем-нибудь или подавлены.

— И то, и другое,—ответил Манфред, усаживаясь за завтрак.—Я был на Флит-Стрит и просматривал материалы спортивной прессы.

— Спортивной прессы?—переспросил Гонзалез с изумлением. Манфред утвердительно кивнул головой.

— Случайно я встретил Фэра,—продолжал он,—в результате вскрытия профессора Тэблмена не было найдено никаких признаков яда. Сегодня арестовали Стефана Тэблмена.

— Я этого ожидал,—серьезно сказал Гонзалез,—но какое отношение это имеет к спортивной прессе?

Манфред пропустил вопрос мимо ушей.

— Фэр совершенно убежден, что убийца профессора—Стефан,—сказал он,—по его мнению, между ними произошла ссора, молодой человек при-

шел в бешенство и задушил своего отца. Очевидно, вскрытие тела подтвердило эту теорию удушения. Все кровеносные сосуды шеи повреждены. Фэр сказал мне, что вначале доктор предполагал отравление; кроме того, доктора не знают никакого яда, который бы вызывал смерть, сопровождаемую этими симптомами. Это ухудшает положение Стефана Тэблмена, который, как известно, последние несколько месяцев занимался изучением действия различных ядов.

Гонзалез откинулся на спинку стула и заложил руки в карманы.

— Совершил он это убийство или нет,—сказал он спустя минуту,—несомненно одно: рано или поздно он должен был стать убийцей. Я помню одного доктора в Барселоне, у которого были точно такие же зубы. Это был богатый холостяк, пользовавшийся большой популярностью. Кажется, нельзя было найти ни малейшего основания, почему бы он мог совершить убийство, и однакоже он его совершил. Он убил одного врача, который хотел обнародовать его ошибку, допущенную им при операции. Должен вам сказать, Джордж, что с такими зубами, как у него...—Гонзалез замолчал и задумался.

— Дорогой мой Джордж,—сказал он,—я хочу просить мистера Фэра, чтобы он разрешил мне провести несколько часов в лаборатории профессора Тэблмена.

VI.

— Вы правы, Леон,—сказал Манфред,—обычно, я без особого затруднения разрешаю подобные проблемы, но в данном случае я нахожусь в большом затруднении. Мне кажется, что вы уже почти разгадали тайну. Некоторые подробности совершенно сбивают меня с толку. Как вы думаете, зачем старик одел эти толстые перчатки?

Гонзалез вскочил на ноги, глаза его загорелись.

— Какой я дурак!—вскричал он,—я их не заметил! Вы уверены, что на нем были перчатки, толстые перчатки, Джордж?—спросил он.

Манфред кивнул головой, удивленный волнением своего друга.

— Так вот в чем дело! Я чувствовал, что в мои вычисления вкралась какая-то ошибка. Значит, на нем были толстые шерстяные перчатки?

Он снова задумался.

— Удивляюсь, как этот негодяй мог заставить старика надеть перчатки?—сказал он.

Мистер Фэр дал свое согласие на просьбу Гонзалеза, и оба друга отправились в лабораторию. Джон Менсей ожидал их.

— Я нашел те очки у дядиной кровати,—сказал он, увидав их.

— Очки?—рассеянно переспросил Леон —можно взглянуть?

Он взял в руку очки.—Ваш дядя был очень близорук. Как это случилось, что он остался без очков?

— Я думаю, он зашел в спальную переодеть очки. Обычно он это делал после обеда,—объяснил мистер Менсей —В лаборатории у него была другая пара, но на этот раз он почему-то не надел их. Может быть, вы хотите остаться один в лаборатории?—спросил он.

— Пожалуй,—ответил Леон,—вы поболтайте с моим другом, пока я осматриваю комнату.

Оставшись один, он запер дверь, сообщавшую лабораторию с домом, и прежде всего принялся за поиски очков, которыми профессор пользовался во время работы.

Замечательно, что он сразу подошел к тому месту, где они были—огромной металлической пепельнице, стоявшей на лестнице, ведущей в лабораторию. Стекла были разбиты, роговая оправка поломана в двух местах. Гонзалез собрал обломки, вернулся в лабораторию и, положив их на скамью, взял телефонную трубку.

Минуту спустя он уже говорил со Стефаном Тэблменом.

— Да, сэр,—послышался удивленный ответ —на отец были очки во время нашего разговора.

— Благодарю вас, это все,—сказал Гонзалез, вешая трубку.

Он направился к одному из приборов, стоявшему в углу лаборатории,

и часа полтора работал без перерыва. Еще один раз он говорил с кем-то по телефону. Наконец он вытащил из кармана пару толстых шерстяных перчаток и, открыв дверь, позвал Манфреда.

— Попросите и мистера Менсей зайти ко мне,—сказал он.

— Ваш друг, кажется, очень интересуется наукой?—спросил Менсей, следуя за Манфредом.

— Он считается одним из лучших специалистов в своей области,—ответил Манфред, входя в лабораторию.

Гонзалез стоял у стола, держа в руках рюмку, наполненную какой-то почти бесцветной, голубоватой жидкостью. Манфред с изумлением заметил, что с поверхности стакана поднимается легкое облачко пара. На руках у Леона Гонзалеза были толстые шерстяные перчатки.

— Вы кончили?—спросил с улыбкой мистер Менсей, входя вслед за Манфредом; но когда он увидел Леона, улыбка сбежала с его губ. Его лицо потемнело и вытянулось, дыхание стало ускоренным.

— Не хотите ли выпить, мой друг?—предложил любезно Леон —прекрасный напиток! Его легко смешать с *creme de menthe* или каким-нибудь старым ликером, особенно если вы—близорукий, рассеянный старик, у которого кто-то стянул очки.

— Что вы хотите сказать?—спросил Менсей хриплым голосом!—я... я не понимаю вас.

— Я ручаюсь, что этот напиток совершенно безвреден, не содержит никакого яда и чист, как воздух, которым вы дышите,—продолжал Гонзалез.

— Проклятье!—закричал Менсей; но, прежде чем он успел броситься на своего мучителя, Манфред схватил его за плечи и повалил на пол.

— Я телефонирую мистеру Фэру; он скоро будет здесь с мистером Стефаном Тэблменом,—сказал Леон.—А вот и они!

Послышался стук в дверь.

— Будьте добры, откройте, дорогой Джордж! Если наш молодой друг вздумает пошевеливаться, я выплесну содержимое этого стакана ему в лицо.

Фэр вошел в комнату в сопровождении Стефана и одного из агентов Скоттленд-Ярда.

— Вот ваш пленник, мистер Фэр,— сказал Гонзалез,—а вот и жидкость, при помощи которой мистер Джон Менсей способствовал смерти своего дяди. Полагаю, он узнал о примире-



Манфред схватил его за плечи и повалил на пол...

нии профессора с сыном и о предстоящем изменении завещания.

— Это ложь!—крикнул Джон Менсей.—Стефан! Вы знаете, как я старался для вас! Я сделал все, что мог.

— Это входило в ваш план,—сказал Гонзалез.—Если я ошибаюсь, выпейте эту рюмку. В ней та же жидкость, которую выпил ваш дядя перед смертью.

— Что это такое?—воскликнул Фэр.

— Спросите его,—улыбнулся Гонзалез, кивнув в сторону молодого человека.

Джон Менсей повернулся на каблуках и вышел из комнаты. Агент полиции последовал за ним.

VII.

— А теперь я расскажу вам, в чем тут дело,—сказал Гонзалез:—это—жидкий воздух!

— Жидкий воздух!—воскликнул комиссар—что вы хотите сказать? Как может быть человек отравлен жидким воздухом?

— Профессор Тэблмен не был отравлен. Воздух переходит в жидкое состояние при понижении температуры до двухсот семидесяти градусов ниже нуля. Ученые пользуются им для своих экспериментов; его держат обычно в термосах, горлышко которых закрывается ватной втулкой, что бы предотвратить взрыв, вызываемый сжатием воздуха.

— Боже мой!—в ужасе воскликнул Тэблмен:—Значит, эта синяя полоса на шее моего отца...

— Он был заморожен. По крайней мере горло его замерзло, как только он проглотил жидкость. Ваш отец обычно выпивал на ночь рюмку ликера. Несомненно, после вашего ухода, Менсей поддал профессору рюмку жидкого воздуха и ка-

ким-то образом убедил его надеть перчатки.

— Зачем?.. Ах, да от холода!—догадался Манфред.

Гонзалез кивнул головой.

— Без перчаток он немедленно заметил бы, какая жидкость находится в рюмке. Мы никогда не узнаем, к какому способу прибег Менсей для выполнения своего плана. Конечно, он и сам был в перчатках. После смерти вашего отца он постарался свалить вину на другого. Убийца не заметил, да и я сам не обратил внимания на тот факт, что перчатки остались на руках у профессора.

— Я придерживаюсь того взгляда,—говорил позднее Гонзалез—что

Менсей в течение нескольких лет старался посорить своего кузена с отцом. По всей вероятности, он сам придумал эту историю о болезни отца мисс Фабер.

Молодой Тэблмен зашел однажды к Манфреду и Леону. Гонзалес чем-то рассмешил его, и Стефан громко расхохотался. Леон с недоумением уставился на него.

— Ваши... ваши зубы?—заикаясь, пробормотал он.

Стефан вспыхнул.

— Мои зубы?—повторил он смущенно.

— У вас были два огромных клыка, когда мы виделись последний раз. Вы помните, Манфред?—воскликнул Гонзалес в сильном волнении.—Я говорил вам...

Его прервал громкий взрыв смеха.

— Но они были фальшивые!—объяснил Стефан,—мне их выбили во время футбольного матча, а Бенсон, который работает в нашем зубо-врачебном отделении, вызвался сделать новые. Он—славный парень, но плохой дантист. Они выглядели ужасно, неправда ли? Я не удивляюсь, что вы обратили на них внимание. Теперь я их заменил другими.

— Это случилось тринадцатого сентября прошлого года. Я читал в спортивной прессе об этом матче,—сказал Манфред, а Гонзалес с упрямством взглянул на него.

Когда они остались одни, Манфред сказал:—что касается клыков...

— Поговорим о чем-нибудь другом,—перебил его Леон.



СЕКРЕТ ГРАФИНИ БАРБАРЫ.

Рассказ Анри де-Ренбе.

Человек, странную исповедь которого я предлагаю вашему вниманию, происходил из знатной венецианской семьи. Я говорю—происходил, потому что в тот момент, когда я познакомился с этим документом, автора его уже не было в живых. Несколько недель назад он умер в госпитале на острове Сан Серволо, где провел последние годы жизни.

Несомненно, это обстоятельство и побудило любезного директора убежища для умалишенных передать мне любопытную рукопись своего пациента.

Медико-психологические исследования, которыми я занимался в госпитале Сан Серволо, и рекомендательные письма расположили директора в мою пользу. Вполне уверенный, что я не злоупотреблю признаниями его покойного пансионера, он разрешил мне переписать рукопись. Я предлагаю ее теперь вниманию читающей публики.

Я не испытываю никаких угрызений совести, предавая огласке этот документ. События, о которых в нем говорится, произошли около двадцати пяти лет тому назад. С тех пор я давно отошел от научных исследований, привлечших меня в Венецию.

В то время я был до такой степени погружен в свою работу, что живописная красота города Дотей не производила на меня ни малейшего впечатления. Мимоходом осмотрел я знаменитые памятники старины и не сумел погрузиться в великий покой этого единственного города в мире, где человек может уйти от современной жизни.

Не без оттенка презрения отношусь я теперь к моему образу жизни в Венеции. Базилика св. Марка казалась

мне не заслуживающей внимания, а палаццо Дожей я удостоил самым поверхностным осмотром. Безразличие мое простиралось до такой степени, что я поселился напротив вокзала, прельстившись удобством и скромной ценой помещения. Повидимому, в ту эпоху чувство красоты было совершенно атрофировано во мне. Самыми интересными местами в Венеции я считал кафе Флориани, славившееся своим шербетом, остров Лидо, где я любил купаться, и Сан Серволо, любезный директор которого, заинтересованный моими исследованиями, делился со мною своими наблюдениями.

Славный человек был этот директор! У меня сохранились самые теплые воспоминания о наших бесконечных разговорах в его рабочем кабинете на острове умалишенных.

Окна комнаты выходили на террасу, окруженную темными кипарисами. Мы часто сидели там по вечерам, наслаждаясь спокойствием и тишиной, изредка прерываемой глухим завыванием, доносившимся из отделения буйных, и писком крыс, копошившихся в тине у подножия стены, во время отлива.

В один из таких вечеров на террасе директор показал мне этот документ, который я переписываю здесь.

Остров Сан Серволо.
12 мая.

Теперь, когда все считают меня сумасшедшим, и я до конца своей жизни обречен томиться в стенах этого убежища, ничто не мешает мне правдиво передать те события, которые привели к моему заключению.

Но пусть не думают те, кто, может

быть, прочтет эти строки, что они имеют дело с маньяком, считающим себя жертвой врачебной ошибки и возводящим бесконечные обвинения на своих родных, лишивших его свободы. Нет! далек от мысли жаловаться на свою судьбу и протестовать против меры, примененной ко мне. Ни разу, с тех пор как я здесь, мысль о побеге не соблазняла меня. Напротив—моя келейка в Сан Серволо всегда казалась мне не тюрьмой, а желанным приютом. Она дает мне чувство безопасности, которое я не сумею найти в другом месте, и у меня нет ни малейшего желания ее оставить. Я благословляю толстые стены и крепкие решетки, навсегда отделившие меня от людей,—особенно тех, кто взял на себя смелость судить дела человеческие.

Если даже какому-нибудь судье случится прочесть эти строки, он не придаст им значения, и его карающая рука не коснется меня по той простой причине, что я признан сумасшедшим. Это незаменимое качество дает мне возможность говорить свободно.

Безумие служит мне защитой. Я сделал все возможное, чтобы подтвердить диагноз врачей. Когда меня привезли в Сан Серволо, я катался по земле, бросался на сторожа с явным намерением задушить его и болтал такой вздор, что минутами сам начинал сомневаться в своем рассудке. Я должен был укрепить свое положение, чтобы мирно пользоваться всеми его преимуществами.

Вы, конечно, догадались, что я совсем не сумасшедший. Выслушайте мою историю и судите сами. Я пал жертвой одного из тех ужасных приключений, которым люди отказываются верить, потому что они смущают слабый человеческий разум.

С детства я отличался непреодолимой леностью, впоследствии погубившей меня. Мои родители происходили из знатной, но обедневшей семьи. Несмотря на это, они не жалели денег на мое воспитание. Я был помещен в один из лучших пансионатов Венеции, где и познакомился с молодым графом Одоардо Гриманелли.

Окончив кое-как свое образование, я был вынужден избрать себе какую-нибудь профессию. Тут-то и проявилась моя лень, свойственная всем венецианцам. Стоило ли рождаться в Венеции, чтобы работать здесь, как и во всяком другом городе? Венеция поглощала меня всего. Я наслаждался ее великим прошлым и готов был посвятить всю жизнь изучению ее старинных архивов. Но любитель-историк должен обладать большими средствами, а денег у меня не было.

Однажды, погруженный в тяжелые размышления, я зашел в собор св. Марка. Я любовался драгоценным мрамором и мозаикой, украшавшими внутренность храма. Блеск золота и богатое убранство церкви еще сильнее оттеняли мою собственную бледность. Унылый и подавленный сидел я на скамье, когда внезапно странная мысль мелькнула в моей голове. Я вспомнил старую связку бумаг, найденную мною в то утро в архивах Венеции. Это был отчет инквизиторов о некоем авантюристе, германского происхождения, по имени Ганс Глюксбергер, владевшим тайной превращения металлов. Он жил в Венеции в середине XVIII века, окруженный группой адептов. Но если этот чудесный секрет действительно существовал, не смогу ли я найти ключ к нему? Я чувствовал, что он не исчез бесследно. Должны были остаться хранители великой тайны. Может быть, мне удастся напасть на их след? Золотые своды св. Марка закружились в моей голове. На минуту я потерял сознание. Придя в себе, я поклялся разыскать хранителей тайны и вырвать у них секрет.

Мое решение было принято. Я добился позволения у своей семьи отсрочить мое поступление на службу и лихорадочно набросился на всевозможные сочинения по оккультизму и алхимии. Вскоре я убедился, что возможность превращать металлы в золото отнюдь не является басней. Ганс Глюксбергер, несомненно, владел этой тайной. Он мог сообщить формулу кому-нибудь из своих венецианских адептов. С удвоенным рес-

нием продолжал я свои поиски и внезапно попал на след.

Среди учеников немецкого алхимика называли известную графиню Барбару Гриманелли. Эта женщина отличалась большим умом и, по словам современников, в несколько лет восстановила расстроенное состояние своей семьи. По ее инициативе был перестроен дворец Гриманелли, слававшийся фресками художника Пьетро Лонги. Я больше не сомневался: очевидно, графиня Барбара знала чудесный секрет, с помощью которого ей удалось разбогатеть. Законным наследником магической формулы был ее внук, Одоардо.

Лицо графини Барбары мне было знакомо. Я не раз видел фреску Лонги, где художник изобразил всю семью Гриманелли за игорным столом. Сцена была написана очень живо и произвела сильное впечатление. В самом центре композиции, среди игроков стояла графиня Барбара. Ее величественная фигура дышала энергией и силой. В левой руке она держала какую-то бумагу, исчерченную кабалистическими знаками. Удивляюсь, как эти знаки раньше не навели меня на след.

Теперь мне стал понятен и образ жизни, который вел Одоардо со дня своего совершеннолетия. Всем было известно, что отец его растратил все состояние, и несмотря на это, спустя два года, Одоардо реставрировал старый дворец Гриманелли и поставил его на широкую ногу. Он не останавливался ни перед какими затратами и проживал крупные суммы денег во время своих поездок в Лондон и Париж. Не было ли это доказательством того, что он владел секретом графини Барбары и Ганса Глюксбергера?

И этот чудесный секрет я решил вырвать у него во что бы то ни стало. Я проник в тайну Одоардо, и он должен будет разделить ее со мной.

Но как добиться своей цели? Прежде всего, мне нужно было увидеть Одоардо. В то время он жил в Венеции, и на следующий же день я отправился во дворец Гриманелли.

Меня провели как раз в ту самую галлерею, где находилась фреска.

Одоардо долго не выходил. Поджидая его, я внимательно рассматривал картину Лонги. Только одна фигура интересовала меня—это была графиня Барбара. Ее высокомерный угрожающий вид поразил меня. Левая рука ее, казалось, с гневом сжимала кабалистическую рукопись, стараясь скрыть ее от взгляда непосвященных.

Приход Одоардо прервал мои размышления. Повидимому, он был рад меня видеть, и вскоре мы болтали с ним, как старые друзья. Одоардо рассказал о своей поездке в Лондон и засыпал меня вопросами о моей жизни. Выбрал ли я себе наконец какое-нибудь занятие? Я уклончиво отвечал на его вопросы. Страсть копаться в архивах оправдывала мою нерешительность в выборе профессии.

Одоардо слушал меня с любопытством. Для него единственный интерес жизни заключался в путешествиях, игре и женщинах.

— Я охотно согласился бы с тобой, мой друг,—сказал я,—если бы к этим развлечениям мог прибавить еще и научные исследования. Работа в архивах увлекает меня. Так, например, на днях я раскопал любопытные данные отвоей бабушке, графине Барбаре.

И с этими словами я указал ему на портрет. Мне показалось, что Одоардо слегка смутился, но через минуту он уже громко хохотал.

— Дорогой мой, я уверен, что ты наткнулся на какие-нибудь похождения моей почтенной родственницы. Все вы, ученые, одинаковы. Представь себе, недавно в Париже появилась брошюра какого-то молодого французского исследователя, где он обещает опубликовать компрометирующую переписку графини с известным авантюристом Казановой.

И он искоса взглянул на меня. Я в свою очередь расхохотался.

— Меня это нисколько не удивляет, дорогой мой Одоардо! Очень возможно, что как раз Казанова и познакомил твою бабушку с алхимией и магией. Венеция в то время была битком

набита кабалистами. Сюда приезжали даже из-за границы.

Одоардо уже не смеялся. Видимо, ему было не по себе, и он резко оборвал разговор. Мы снова вернулись к вопросу о моей карьере.

— Я охотно помогу тебе своими связями; ты можешь располагать мною,—говорил он, позвякивая золотыми монетами в карманчике жилета.

Бедный Одоардо, не того я хотел от тебя! Волей или неволей ты вынужден будешь открыть мне чудесный секрет превращения металлов. Мне остается только найти способ убеждением или силой вырвать у тебя таинственную формулу!

Несколько недель посвятил я изысканию этого способа. Долгие часы проводил я в храме св. Марка, погруженный в глубокие размышления. Иногда я нанимал гондолу и под тихое журчанье воды в немых каналах обдумывал мельчайшие подробности своего плана. Однажды вечером, когда моя гондола проплывала вдоль старых стен острова Сан Серволо, окончательное решение созрело в моей голове: я попрошу Одоардо назначить мне день и час для делового разговора и, оставшись с ним наедине, заставлю его говорить. Я готов был прибегнуть к насилию для достижения своей цели.

Мне пришлось ждать возвращения Одоардо из Рима, куда он ездил на какой-то спектакль.

Наконец роковой день настал. Одоардо назначил мне свидание в шесть часов вечера. В половине шестого я отправился во дворец Гриманелли.

Все приготовления были окончены. Я захватил с собой револьвер, крепкую веревку и кляп, чтобы заткнуть ему рот. Я был совершенно спокоен. Только одна вещь занимала меня. Где произойдет наш разговор с Одоардо—в его кабинете или в галлерее с фресками? Я предпочел бы кабинет, отделенный длинным корридорм от остальных комнат, но и галлерей казалась мне подходящим местом. По всей вероятности Одоардо не окажет большого сопротивления. Выдав свой секрет, он, может быть, даже простит мне мое бесцеремонное обращение.

С этими мыслями подходил я к дворцу Гриманелли. Слуга проводил меня в галлерей и бесшумно удалился. Я вошел.

Одоардо стоял перед фреской Лонги. Он смотрел на нее с таким вниманием, что даже не почувствовал моего присутствия. Я напал на него сзади, повалил на пол и связал. Он не успел вскрикнуть—кляп заткнул ему рот. Я вытер лоб, вынул из кармана револьвер и начал объяснять ему свои требования.

По мере того, как я говорил, лицо Одоардо покрывалось смертельной бледностью. Казалось, он не слушал меня, его глаза были прикованы к одной точке. Я обернулся. Ужасное зрелище представилось моим глазам: на фреске Лонги графиня Барбара медленно оживала. Сначала шевельнулись пальцы, затем кисть руки, наконец вся рука. Она повернула голову, зашуршали тяжелые складки парчового платья. Револьвер выпал из моих рук, странное оцепенение сковало мои члены.

Сомнений не было: графиня Барбара вышла из картины. В том месте, где в течение ста пятидесяти лет находилось ее изображение, появилось большое, белое пятно.

Графиня Барбара пришла защищать свой секрет, ради которого она продала душу дьяволу.

Она стояла в двух шагах от меня. Внезапно ледяная рука опустилась на мое плечо, тяжелый взгляд пронзил меня насквозь.

Когда я пришел в себя, я лежал на кровати, связанный крепким ремнем. В углу комнаты Одоардо говорил с каким-то господином с седой бородой. Это был директор убежища Сан-Серволо.

У моего изголовья рыдали отец и мать. Кляп, веревки и револьвер лежали на маленьком столике подле кровати. Эти улики могли причинить мне немало неприятностей, но, к счастью, меня признали сумасшедшим.

Я уже стоял у порога великой тайны, и если бы не эта проклятая графиня Барбара....

СИГАРА ПАШИ.

Рассказ Л. Биспона.

I.

Закончив свое странное сообщение и написав на конверте «Начальнику полиции, Лондон, Англия», мистер Канарис Трикупи закурил фарфоровую трубку и, нежась под палящими лучами солнца, начал читать только что исписанные им листки:

«Синий Босфор кажется объятм пламенем, а тяжелый запах терпентинных деревьев ласкает мой мозг, как жгучие поцелуи. В этот знойный полдень, в обнесенном оградой саду, приютившемся на склоне горы, под тихое воркование голубей, я пишу историю о том, что случилось в доме английского полковника Ансельминга, в Оксфордском графстве, в ночь на 22 сентября прошлого года.

В одной из каторжных тюрем Англии томится человек, по имени Вильтон Ферлей. Он приговорен к пожизненному заключению за то, что в ту ночь, о которой я упомянул, он вонзил нож в сердце своего врага, Ричарда Мидса.

Я — Канарис Трикупи — начинаю правдивый рассказ об этом происшествии. Знаю, что многим может он показаться странным.

Около двух лет назад полковник Ансельминг приехал в древний Стамбул и остановился на берегах Золотого Рога во дворце своего старого друга, Меджид-паши, который был тогда моим господином. В дни своей юности великий паша воспитывался в Англии, в Итонском колледже вместе с полковником Ансельмингом.

Пока полковник гостил во дворце, я был приставлен к нему для услуг. Он привязался ко мне, имой господин, не имеющий себе равного по великодушию и щедрости, отдал меня ему. Так попал я в Англию, в дом полков-

ника Ансельминга в Оксфордском графстве, как один из его слуг.

Он был добрым господином. Он никогда не наказывал меня плетью, если я не умел угодить ему, но, несмотря на это, душа моя с тоской блуждала по узким улицам Стамбула. Я вспоминал желтых собак, греющихся на солнцепеке, пестрые базары и темные курильни, притаившиеся около мечети, в которых измученный путник мог получить опиум, погружающий его в божественное и страшное оцепенение.

Вечером двадцать второго сентября у полковника Ансельминга были гости, и среди них — Вильтон Ферлей и Ричард Мидс. Последний взял с собой жену. Она была прекрасна, как Мраморное море, как небо над его гладью. Но нетрудно было заметить, что ее господин не питал к ней любви, и бедняжка чахла, как птица в клетке. Клянусь бородой пророка! — если бы эта жемчужина была моей, я бы сумел с ней обращаться!

Часа за два до полуночи я принес кофе в библиотеку. Полковник показывал своим гостям сокровища, которые он привез с собой из Константинополя. Тут были стенные ковры почти такие же старые, как Коран, тут были шали из Бухары, бирюза из Македонии, нанизанная на серебряные нити, чубук в семь футов длинны с мундштуком из амбры солнечно-золотого цвета. Когда я вошел в комнату, неся кофа, которое я один во всем доме умел готовить, полковник показал и меня своим гостям, как одно из приобретений, вывезенных им с востока.

— Это — мистер Канарис Трикупи, — сказал он с улыбкой, — бывший баши-бузук из Албании. Ручаюсь, что его ятаган не раз отсекал головы

врагов. Взгляните, как он вращает своими черными глазами! С тех пор он был на службе у его высочества Меджид-паши, а теперь сделался моей собственностью. Кстати,—продолжал мой господин,—это напоминает мне о том, что я не показал вам еще одного подарка, полученного мною от паши; очень любопытная вещь; пожалуй, немного мрачная, но несомненно занятая.

Я был заинтересован не менее остальных и решил остаться в комнате, тем более, что никто не обращал на меня внимания. Полковник взял с комода вазочку, украшенную эмалью и вытряхнул из нее что-то на ладонь левой руки.

— Вот она,—сказал он со смехом.

На минуту воцарилось молчание, прервавшееся удивленным восклицанием Ферлея:—Как, это только сигара!

— Да, только сигара, но не совсем обыкновенная,—ответил полковник Ансельминг.

Эти странные слова заставили всех взглянуть на него.

— Вы можете закурить ее, как самую простую сигару,—продолжался полковник,—но в аромате ее таится смерть. Медленно, незаметно вы перейдете из этого мира в небытие. Эта сигара—прощальный дар моего друга Меджид-паши. Нам, европейцам, подобный подарок кажется несколько странным, но паша смотрел на дело иначе. Мне запомнились его слова,—«Дорогой друг,—сказал он мне со своей спокойной, серьезной улыбкой,—сегодня солнце ярко светит нам, а завтра глубокая тень может окутать нашу жизнь. Сейчас вы наслаждаетесь здоровьем и благополучием, но настанет время,—Аллах один ведает нашу судьбу!—когда вино жизни покажется вам горьким, и отчаяние охватит вас при пробуждении и скорбь будет сторожить ваш сон у изголовья. Вспомните тогда мой дар. В нем таится последнее утешение всех скорбей и исцеление от всех болезней. Несколько раз должны вы будите втянуть ароматный дым, и вам откроется истинное значение слова

«Покой».—Паша говорил с глубокой торжественностью, и я не мог отклонить его подарок, боясь обидеть моего друга.

— И с тех пор вы храните эту сигару?—спросила жена Ричарда Мидса, и нежные щеки ее побледнели от волнения.

— Как видите,—улыбнулся полковник.

— Рискованно держать у себя такую опасную штуку,—проворчал Мидс,—представьте себе, что кто-нибудь найдет ее и выкурит?

— О, нет! я прячу ее,—возразил полковник,—я сам очень заинтересован этим таинственным зельем и думаю подвергнуть ее химическому анализу. Очевидно, она пропитана каким-то наркотическим веществом, несущим смерть. Не сомневаюсь, что мой друг паша сказал мне правду.

Он снова положил сигару в вазу, которую и отнес обратно на комод.

II.

Помню, в ту ночь я долго не мог уснуть. Это была одна из тех странных ночей, нередких в Англии, когда от жары туманы поднимаются с земли, и человек почти не может дышать. Погруженный в мечты, бродил я по террасе, окружающей дом; мне было не по себе. Я чувствовал,—да простит мне Аллах!—что красота женщины, о которой я говорил, и глубокая тоска, светящаяся в ее глазах, нарушили покой моей души. Мысли мои возвращались к моему господину, царственному Меджиду, несмотря на воспоминание о жгучих ударах плети; мне мерещились зеленые крыши киосков под тенью вишневых и померанцевых деревьев. Я тосковал по крепкой раки, которую покупают у продавцов на базарной площади Стамбула; один глоток ее воспламеняет мозг, как огонь.

Так бродил я по террасе, размышляя об утраченном блаженстве. Внезапно мое внимание привлек свет, струившийся из окон библиотеки, и звук голосов, доносившийся из комнаты. Мне показалось это странным, так как час был поздний. Осторожно

подкрался я к окну и увидел двух человек—Ричарда Мидса и Вильтона Ферлея. Первый сидел у стола, вытянув ноги; лицо его было бледно, как у мертвеца, глаза сверкали ненавистью, насмешливая улыбка кривила губы. Он говорил Ферлею, стоявшему у камина.

— Если бы Ансельминг не был слеп, как летучая мышь, он никогда не пригласил бы нас вместе, дорогой

ся спиной и уставился на тлеющий огонь камина.

— Вы действительно не завидуете моему счастью?—продолжал Мидс, тихонько посмеиваясь,—может быть, вы желаете больше всего на свете найти женщину, которая любила бы вас, как Марджори обожает меня? Или... возможно ли это..?

Ферлей круто повернулся, и я видел, что глаза его сверкают.

— Проклятие! — сказал он, дрожа с головы до ног.

— Значит, вы поняли? — продолжал Мидс, и угроза зазвучала в его голосе, — тем лучше! Должен вам сказать, что у меня есть глаза! Я видел и слышал...

Ферлей не выдержал.

— Вы говорите, как последний подлец! — закричал он, — как смеете вы пачкать своими грязными подозрениями эту божественную женщину! Слушайте, вы, проклятый! Я клянусь вам, что, хотя вы, а не я, обладаете ею, но если малейшая тень коснется ее, я... — Он остановился, задыхаясь от бешенства.

— Продолжайте. Я бы хотел услышать конец, — сказал Мидс с полным спокойствием.

— Я прекращу вашу подлую жизнь, — закончил тот.

III.

В этот интересный момент я услышал чей-то голос, говорящий, — извиняюсь джентельмены. Я думал, что все уже разошлось. Я увидел свет в этой комнате и зашел взглянуть...

— Все в порядке, Форбс, — поспешно перебил его Ферлей.

Тогда я понял, что это дворецкий помешал им.

На несколько минут воцарилось молчание. Потом Мидс сказал: — если



Осторожно подкрался я к окну...

мой кузен. Этот дом, как и всякий другой, недостаточно велик для нас двух.

— Что касается этого, — спокойно ответил Ферлей, — то весь мир для нас тесен.

— Не знаю, — сказал Мидс: — я нахожу его очень удобным местом, Вильтон. Правда, у меня нет таких денег, как у вас, но зато есть жена, бесконечно преданная мне.

Услыхав эти слова, сказанные насмешливым тоном, Ферлей повернул-

Форбс слышал ваши любезные слова, дорогой кузен, он, вероятно, немало удивился, и, конечно, начнет болтать.

Ответа не последовало. Я подошел ближе и прильнул к стеклу. Мидс собирался закурить сигару. Внезапно он остановился, положил спичку и заговорил своим насмешливым тоном:

— Мне пришла в голову забавная мысль. Допустим, что я отчасти верю той истории, которую рассказал Ансельминг о наркотической сигаре. Допустим, что я выкурю ее и докажу ее способность погружать человека в сон. Если я не проснусь,—тем лучше для вас. Если же я проснусь—вы уплатите все мои долги. Предупреждаю, что они велики и многочисленны. Принимаете мои условия?

— Я охотно согласился бы, если бы не знал, какой вы трус,—последовал немедленный ответ.

— Вы всегда имеете наготове комплимент,—ответил Мидс голосом человека, который ненавидит и помнит,—но я думаю поймать вас на слове. Помимо уплаты долгов, вы подпишете еще маленький чек.

— На какую сумму?—недоверчиво спросил Ферлей.

— Дело идет о тысячах, дорогой кузен!

— Сколько?

— Пять.

— Согласен,—немедленно ответил Ферлей тем же недоверчивым тоном.

Мидс вскочил с кресла и подошел к комоду. Я дрожал мелкой дрожью. Он вернулся, держа сигару в левой руке, и сказал:—я еще не потерял рассудка. Если бы я думал, что несколько затяжек могут принести смерть, я бы не доставил вам этого удовольствия. Но я никогда не слышал о возможности отравления подобным способом. Кроме того, вы ведь не ожидаете, что я докурю эту сигару до конца?

— Пяти минут будет достаточно,—ответил Ферлей. Недоверие исчезло в его голосе; он видел, что Мидс выполнит свое намерение.

— Вы будете следить по вашим часам?—спросил Мидс.

— Да, в течение пяти минут.

Мидс вертел пальцами сигару. Его лицо слегка покраснело; можно было заметить, что он сильно волнуется.

— Знаете ли вы, сколько я должен?—спросил он.

— Нет, но не беспокойтесь,—это уж мое дело.

— Следовательно, вы даёте слово, что подпишете чек в пять тысяч?

— Даю.

— Хорошо. Я вам верю.—Мидс покраснел еще сильнее. Он стоял и смотрел на сигару, лежащую на его ладони.

— Помните—ровно пять минут,—сказал он.

— Ни секунды больше,—ответил Ферлей.

— Если Ансельминг был прав, и эта сигара отправит меня на тот свет, все будут уверены, что я решил покончить с собой; не так ли?

— Не сомневаюсь.

— Вы—бесчувственная скотина!—проворчал Мидс, видимо колеблясь.

— Идея принадлежит вам. Откажитесь, если желаете.

— Нет, я не верю в эту чертовщину,—возразил Мидс,—следите по часам, я начинаю.

Я прижался лицом к стеклу, чтобы лучше видеть. Мидс сел в кресло, положил ноги на край стола и зажег спичку. Он отбросил спичку, откинулся на спинку кресла и медленно стал втягивать табачный дым.

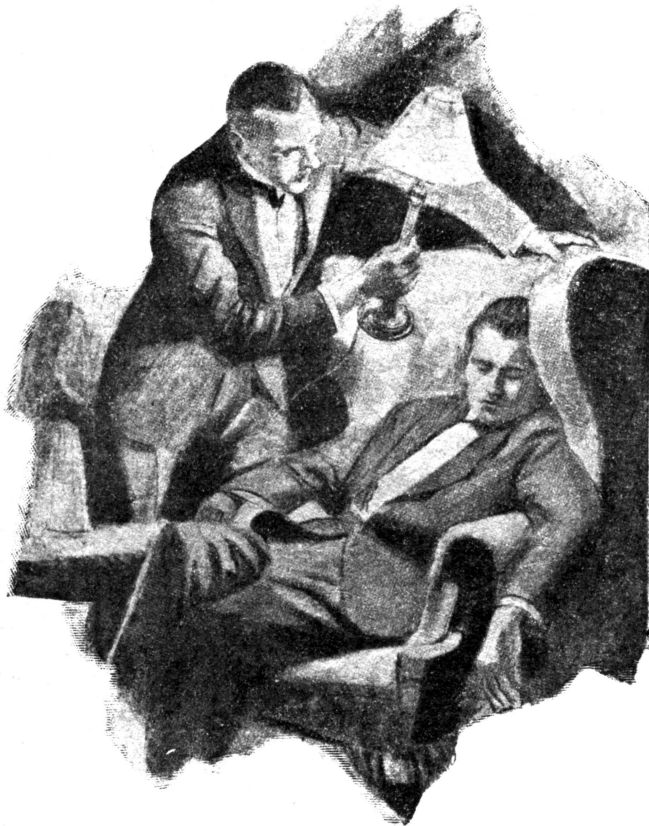
У камина, за его спиной стоял Ферлей, держа в руке часы. Он был совершенно спокоен. Взгляд его скользил с циферблата часов на маленькое облако дыма, нависшее над головой его врага. Оба молчали.

Я дрожал до самых кончиков пальцев. Меня поражало, что в холодной крови этих бледных англичан может таиться такая дикая страсть. Кончик моего носа болел,—так сильно прижал я его к оконному стеклу. Ни один момент этой странной сцены не ускользнул от моего внимания.

Минуты через две правая рука курильщика бессильно опустилась на ручку кресла, а из ослабевших пальцев рыскающе выскользнула сигара. Голова его

откинулась на подушку. Покой и оцепенение смерти охватили его.

Ферлей медленно приблизился к нему. Он был холоден, как лед, и вполне владел собой. Прежде всего он поднял с ковра тлеющую сигару, положил ее в пепельницу, и только после этого склонился над неподвижной фигурой, сидевшей в кресле.



Он взял со стола маленькую электрическую лампу и направил ее яркий свет на лицо своего врага.

Он коротко позвал его:—Мидс!

Ответа не последовало. Он взял со стола маленькую электрическую лампу и направил ее яркий свет на лицо своего врага. Взглянув на него, он сильно побледнел, но сохранил тоже непреклонное, решительное выражение. Он поставил лампу на место, коснулся рукой лба неподвижного человека, и пощупал его пульс.

— Боже мой, все кончено; он умер!—услышал я его хриплый голос.

С минуту он стоял в оцепенении. Он

восторжествовал над своим врагом, но я должен сказать, что не заметил в нем большой радости. Сначала я боялся, что он растеряется и ослабеет, но он оказался сильнее, чем я думал. Он потушил свечи в комнате и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь.

Несколько минут я стоял неподвижно, прислушиваясь к малейшему шуму. Потом я открыл окно и влез в комнату. Как только я ступил на ковер; мне послышался глубокий вздох. Я не стал колебаться. Слева от меня, на стене между двумя картинками висели два ятагана с изогнутыми лезвиями, в золотой оправе. Из предосторожности я снял один из них и подкрался к креслу, где сидел человек, погруженный в оцепенение. Аллаху угодно было разбудить его, и, хотя я двигался бесшумно, он инстинктивно почувствовал мою близость, издал слабый крик и схватил меня за руку.

— Тише,—шепнул я успокаивающе,—тише... Лучше умереть, чем уснуть.

И я вонзил ему в сердце нож.

IV.

Я задремал под палящими лучами солнца и оставил мой рассказ неоконченным. Воркованье горлиц и жужжание пчел убаюкали меня. Из апельсинной роши доносится нежный аромат, смешанный с запахом терпентинных деревьев. Огненной полосой раскинулся Босфор. За оградой сада девушка поет под аккомпанимент трехструнной гитары. Какой сладкий голос! Она должна быть красива. Когда я кончу мой рассказ, я разыщу ее. Клянусь бородой пророка! Канарис Трикупи еще не стар и не безобразен!

Есть губы, раскрывающиеся для него, как цветы лотоса под солнцем.

Почему я убил Ричарда Мидса? Не потому, что он был негодяем. Разве это не удел всех смертных? Я убил его, потому что он проснулся не во время. Но если он проснулся, значит он не был мертв? Да, он только потерял сознание. Предшествовавшее возбуждение и мысль, что он вдыхает смертельный дым, довели его до обморока. Сигара была безвредна.

К несчастью для него, он проснулся в тот момент, когда я протянул руку за сигарой, лежавшей в пепельнице подле него. Меня нельзя было прерывать в эту минуту, столь важную для всей моей жизни.

Я слышал о сигарах, которые мой бывший господин, Меджид-паша, обычно давал своим близким друзьям. И он смеялся себе в бороду, видя, какой смысл вкладывают они в его слова. Что сказал он полковнику?— «Когда вино жизни покажется вам горьким, и отчаяние охватит вас при пробуждении, и скорбь будет сторожить ваш сон у изголовья»... Но благородный Меджид-паша придерживался особого мнения по этому вопросу. Он не верил в то, что смерть исцеляет от этих несчастий. Для него единственным лекарством от всех бед были деньги. И он сыграл шутку со своими друзьями. В каждую сигару он спрятал драгоценный камень высокой ценности. В этом заключалось «последнее утешение всех скорбей и исцеление от всех болезней». Богатство! И я верю ему. Разве есть что-нибудь лучше золота на нашей земле?

Измученный, отчаявшийся человек закуривает сигару, и внезапно из нее падает блестящий камень, стоимостью в целое состояние. Разве не в этом истинное значение слова «Покой»? Клянусь бородой моего отца, лучшей шутки нельзя придумать для своих друзей.

Я, Канарис Трикупи, воспользовался камнем, который я нашел в сигаре. К счастью, тот конец, где он был спрятан, остался не обожженным, иначе от действия огня камень мог потерять свою красоту и ценность;

даже великий паша не предусмотрел этой важной подробности в своем желании быть оригинальным.

Несколько времени спустя после того, как я оставил службу у английского полковника и вернулся на свою родину, я услышал о том, что Вильтон Ферлей приговорен к пожизненному заключению за убийство своего врага. Против него нашли много улик, которые меня не касаются. Он не мог сослаться на историю с сигарой, потому что было ясно, что Мидс не умер от нее. Показание дворцового, слышавшего слова Ферлея в ту злополучную ночь, решили его судьбу.

Теперь я богат. Я продал свой камень Гафизу-Лысому, который торгует птицей на базаре в Стамбуле, а втихомолку обделяет грязные делишки, за которые он ответит перед Аллахом. Кроме того, он обсчитал меня на много цехинов.

Я написал правдивую историю о том, что произошло, но я не уверен, отошло ли её. Ферлей всегда был добр ко мне, а женщина, которую он любил, быть может, будет отдана мне в раю, если я сделаю ее счастливой здесь, на земле. Мне это кажется очень возможным. Я—человек незлой, и если одного моего слова достаточно... Но я не знаю, скажу ли я его. Я могу разорвать эту бумагу на тысячу кусков. Однако же я богат, и мне нечего страшиться полиции. Я сумею позаботиться о себе, и я думаю, что может быть, пошлю это письмо.

Благословенный край! Жгучее солнце ласкает мое тело. Лодка, нагруженная плодами, проплывает мимо, а ее хозяин, какая-то армянская свинья, проклинает гребцов. Бедняги, они трудятся, как рабы! Будь я на их месте, я перерезал бы ему горло. Вдали я вижу баржу султана; мерно поднимаются и опускаются в воду двадцать шесть ее весел. А голуби попрежнему воркуют, как девушка в объятиях возлюбленного. Тихо плещет фонтан. Женский голос поет за оградой, под звуки трехструнной гитары. Да будет благословенно имя Аллаха! Это—счастье!

ДЕТСКИЕ КНИГИ

**Полный и всесторонний подбор можно иметь
только на складах торгсектора Госиздата:**

МОСКВА, Ильинка, Биржевая площ., уг. Богоявленского пер. 4.
ПЕТРОГРАД, Проспект 25 Октября (Невский), 28.

== КНИГИ-ПОДАРКИ ==

для детей и для юношества в роскошных переплетах с иллюстрациями.

Торгсектором Госиздата **ВЫПУЩЕНЫ ОГРОМНЫЕ ЗАПАСЫ СТАРЫХ ДЕТСКИХ ПОДАРОЧНЫХ КНИГ** любимейших авторов: Андерсена, Ф. Купера, Густ. Эмара, Бичер-Стоу, Томпсон-Сэтон, Киплинга, Гауфа, Свифта, Мамин-Сибиряка, Алтаева и много друг. **РОСКОШНЫЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ** Девриена, Вольфа („Золотая Библиотека“), Сытина, Маркса, Сойкина и друг.

В НОВОМ ИЗДАНИИ ГОСИЗДАТА

ВЫШЛИ:

Жуковский, В. Спящая царевна.
Каррик. Ворона и рак и друг 9 выпусков.
Каринцев, Н. История одной жизни.
Касаткин, И. Тяпа. Сказка.
Лондон, Дж. Дикая сила.
Мамин-Сибиряк, Д. Н. Рассказы для детей. 1-й сборник.
Народная сказка. „Хорошо, да худо“.
„ „ „Трень, брень, горох“.
Пушкян, А. Сказка о рыбаке и рыбке.
„ Сказка о царе Салтане.
„ Сказка о золотом петушке.
Свирский. Вечные странники.
„ Рыжик.
„ Тюрьма.
„ Черные люди.
Серафимович, А. Юные труженики. Рассказы.
Станюкович. Морские рассказы 1-я книга, рис. худ. А. Комарова.
Сурожский, П. Ветка полыни. Рассказы.
Томпсон-Сэтон. Приключение Рольфа.
Фич-Перкинс. Маленькие голландцы.
Шмелев. Служители правды, с рис. Куприянова.

ВЫХОДЯТ В СВЕТ:

Алтаев, А. Детство знаменитых людей.
Андерсен. Сказки для младш., средн. и старш. возраст.
Волькенштейн. Маугли, пьеса для дет.
Гримм, Бр. Сказки, пер. Жбанковой с рис. худ. Покровского, Рогова и Жака.
Дефое, Д. — Робинзон Крузо.
Киплинг. Джунгли, с рис. худ. Ватагина.
Крепостное право. Сборник под ред. Гумской.
Левицкий. Дети нужды. Сборн. рассказ.
Лондон, Дж. — Киш и др. рассказы.
Мамин-Сибиряк. Рассказы кн. I и II.
Насимович, А. В шахте. Сборн. рассказ.
Некрасов, Н. — Избран. произвед., под ред. Ашукина, с рис. худ. Андреева.
Огнев, Н. Дар Шехерезады. Пьеса для детей.
Робертс. Домик под водой.
Серафимович, А. Рассказы, кн. III.
Сидоров, П. Былины, сборник.
Соловьева, П. Волшебная лудочка.
Томпсон. Нравы и психология диких животных.
Фет, А. Стихотворения, ред. Эйгес, И.
Шмелев, И. В новую жизнь.
Шмелев, И. Рваный барин.

ОПТОВЫЕ заказы аккуратно выполняются ТОРГСЕКТОРОМ ГОСИЗДАТА

МОСКВА, Ильинка, Биржевая площ., уг. Богоявленского пер. 4.

ПЕТРОГРАД, Проспект 25 Октября (Невский), 28.

РОЗНИЧНЫЕ — в его магазинах:

МОСКВА:

1. Моховая ул., 17.
2. Советская площ. (под гост. Дрезден).
3. Ул. Герцена (Никитская), 13 (здан. консерватории).
4. Никольская, 3.

Со всеми изданиями можно ознакомиться **НА ВЫСТАВКЕ** при Торгсекторе ежедневно от 10 ч. до 4 ч. дня.

ПЕТРОГРАД:

1. Проспект 25 Октября (Невский), 28.
2. Ул. Володарского (Литейный пр.), 21.
3. Проспект 25 Октября (Невский), 68.
4. Проспект 25 Октября (Невский), 13.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

„МОСПОЛИГРАФ“

ИМЕЕТ В СВОЕМ СОСТАВЕ ВСЕ ОТРАСЛИ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

Типографии, Хромо-литографии,
переплетно-брошюровочные.

Фото-цинкографии, меццо-тинто,
гальванопластика.

Словолитня, штемпельно-граверная
фабрика, облаточная фабрика.

Отдел обойного производства, фаб-
рика конторских книг.

Отдел писчебумажных и канцеляр-
ских принадлежностей.

АДРЕС ПРАВЛЕНИЯ „МОСПОЛИГРАФ“:

Пименовская, 16. Телефоны: 19-21, 1-38-25, 1-38-41.

КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА „МОСПОЛИГРАФА“:

Кузнецкий Мост, дом № 12. Телефон 46-34.



РАЗГАДКА РЕБУСА:

Число верных ответов

Фамилия и адрес

РЕБУС НА ПРЕМИЮ.

За разгадку этого ребуса
будет выдана премия

Один червонец

(1 банкнот Государствен-
ного банка).

Премия выдается не только
правильно расшифровавшему
ребус, но и указавшему при-
близительное число верных
ответов.

Фамилии остальных разгадав-
ших ребус будут опублико-
ваны.

Срок присылки разгадки
1 марта 1923 года.

Разгадка должна быть при-
слана вместе с вырезанным
ребусом.

РАЗГАДКА КРИПТОГРАММЫ.

(Загадка на премию, помещенная в № 1.)

„Мы все уехали. Иначе нельзя. Возьми деньги и жди нас здесь. Деньги оставили. Тридцать монет, триста рублей. В резиновом кисете, он в кожаном, и все в клеенке. Войди в сквер, стань спиной к мосту, лицом к нему. От решетки три шага к нему и пять вправо. Копай. Заступа не надо. Неглубоко. Будь осторожен“.

Из читателей „Мира приключений“ 283 попытались разгадать эту криптограмму, но не разгадал никто. Только 9 человек приблизительно подошли к действительному тексту. Фамилии этих последних мы помещаем в поощрение их нелегких трудов: *М. К. Михайлов* (Москва), *Шведов* (Москва), *В. И. Мухин* (ст. Люберцы), *П. Керман* (Москва), *Л. Ценцинер* (Москва), *Н. П. Жданов* (Москва), *Дарин* (Москва), *Турчанинов* (Москва) и *Е. Н. Громаковская* (Москва),

Почти совсем близко к тексту криптограммы подошел гр. *В. И. Мухин* (ст. Люберцы), который и приглашается пожаловать в контору „Мира приключений“ за получением об'явленной премии.